

Чека. Личные воспоминания об Одесской чрезвычайке

Источник: <https://coollib.com/b/181411/read#t25>

Сохранено в архиве decolonialist: 30.08.2026 · файлов в оригинале: 1

К. Алинин. «Чека». Личные воспоминания об Одесской чрезвычайке

ЧК!— Чрезвычайка О сколько в этом звуке — Для сердца русского слилось!..

Я не знаю, что представляли из себя чрезвычайки других крупных городов, обеих столиц и всяких медвежьих углов, где местные «деятели» рассудку вопреки и наперекор существовавшим декретам из центра насаждали свои «семейные» чрезвычайки. Мне известно, впрочем, что в этих уездных застенках сводились мелкие, личные «деревенские» счеты, удовлетворялось чувство злобы и мести уездных пигмеев, всяких неудачников с раздавленным самолюбием и... лилась кровь, лилась человеческая кровь.

Здесь я буду описывать лишь свои впечатления и воспоминания об одесской чрезвычайке, в стенах которой я провел долгих четыре недели, был приговорен к расстрелу и каким-то чудом спасен. Но прежде чем поделиться с читателем правдивым дневником этого кошмарного прошлого, я постараюсь в нескольких словах набросать картину положения чрезвычайных комиссий на общем фоне советского строительства.

Чрезвычайные следственные комиссии возникли как особые органы судебно-следственного характера, сочетавшие в себе следственные функции с функциями военно-полевых судов. Самое название этих комиссий «чрезвычайными» указывало, с одной стороны, на временный их характер, а с другой — на особые полномочия этих комиссий, на исключительное право их производить аресты любого должностного лица советской республики на дискреционное право президиума ЧК принимать к своему производству и судебному рассмотрению всякое дело, по коему следствие велось агентами и следователями ЧК.

Чрезвычайки северной России были, по мысли создателей своих, прежде всего органами розыска и следствия. Судебные функции составляли право, а не обязанность чрезвычайек, которые могли любое дело передавать на гласное рассмотрение другого чрезвычайного суда— революционного трибунала или ревтрибунала. Никакого определенного правила, устанавливающего подсудность дела чрезвычайке или ревтрибуналу, советское законодательство не знает. И суверенные чрезвычайки, снабженные неограниченными полномочиями, свободные от какого бы то ни было инстанционного подчинения, быстро завоевали положение государства в государстве. Всякие позднейшие попытки Совета народных комиссаров и отдельных представителей его обуздать разнузданную кровавую работу этих застенков встречали ожесточенный отпор со стороны чрезвычайных комиссий.

Насколько независимо чувствовали себя заправилы чрезвычайек, насколько опьянены они были магическим значением и терроризирующей силой этих двух букв— «Ч.К.»— можно судить по тому, что из уст деятелей одесского застенка мне не раз приходилось слышать слова:

—Мы никому не подчинены, кроме всеукраинской чрезвычайки. Нам плевать на исполком рабочих депутатов и на все совдепы! Если захотим, то арестуем самого Ленина!

Чем объяснить себе эту неограниченную власть ЧК? Власть, которой тяготились, гнет которой так остро ощущали даже те, кто возглавляли собой советскую республику. А тем более представляется непостижимой эта неограниченность власти чрезвычайек, если учесть то глубокое возмущение и даже ненависть, которую питали к чрезвычайкам верховные хозяева советского государства — рабочие, и в особенности крестьяне. Пусть будущие кропотливые исследователи и историки дадут человечеству исчерпывающий ответ на этот вопрос. В мои скромные задачи не входит столь детальное освещение и обоснование всех тех хаотических явлений, тех роковых абсурдов, которые так пышно расцветали на советской почве.

Однако, по моим наблюдениям, власть чрезвычайек опиралась главным образом на вооруженную силу, на те отряды особого назначения, которые состояли при чрезвычайках. На содержание этих отрядов без счета тратились миллиарды народных денег, им предоставлены были лучшие условия существования и безмерная возможность улучшать его по собственному почину — безнаказанным грабежом мирного населения. В эпоху революции, в разгар страшной анархии и полной расшатанности государственного аппарата вопрос о власти решается реальным соотношением сил. А это соотношение было в пользу ЧК. Помимо этого, самое существование советского строя, его внутренняя безопасность постоянно должна была искать опоры в чрезвычайках, в особенности на севере, где интеллигенция и сознательная часть рабочих упорно не мирились с советским режимом, где чуть ли не ежедневно один крупный заговор, имеющий целью государственный переворот, сменялся другим.

Тем не менее попытки к установлению контроля над деятельностью всероссийской чрезвычайки возникали не раз. В Москве, в особом заседании центрального комитета партии коммунистов-большевиков, в феврале прошлого года выступил с решительной филиппикой против чрезвычайки народный комиссар юстиции А.Хмельницкий. Человек, одаренный оригинальным образом мыслей и своеобразной большевистской юридической логикой, смело ведущей его к установлению и признанию самых чудовищных абсурдов «красного права», Хмельницкий, одаренный большими ораторскими способностями, столкнулся по вопросу о судьбе чрезвычайек со знаменитым московским «расстрельщиком» Петерсом.

В своей четырехчасовой, изобилующей данными и фактами интереснейшей речи, Хмельницкий пытался провести принцип подчинения ЧК контролю юридических отделов исполнительных комитетов С.Р.Д. Но идейной и юридической аргументации Хмельницкого Петерс противопоставил практические соображения охраны советского строя, продемонстрировал длинный список раскрытых активных quasi-контрреволюционных выступлений и, согласившись даже с Хмельницким в том, что ЧК есть необходимое зло, исходя из «утилитарных задач», «высших целей революции» — блестяще провалил Хмельницкого с его протестом.

При завоевании Украины большевики не могли не учесть всех особенностей ее, как с точки зрения пестроты ее этнографического состава, так и в отношении крестьянской массы, по большей части значительно более обеспеченной по сравнению с крестьянами севера, а потому наименее склонной к восприятию коммунистических идеалов с их насильственными реквизициями, комбедами и пр., не прививающимися на украинской почве насаждениями.

К тому же и самый пролетариат юга в большей своей части не тяготел к коммунистам и относился к ним враждебно. Недаром эпитет «гнилого пролетариата» так часто применялся коммунистами в отношении одесских рабочих масс. Ленин первый осознал всю трудность

работы, предстоявшей для советской власти на Украине. Всем памяты слова его об отношении к крестьянству и о возможности развития на Украине коммунальных хозяйств: «Не смей командовать в деревне; нам надо учиться в ней!» Признание середняка— явилось несомненным компромиссом по пути к установлению мелкобуржуазной республики. Вот почему с первых дней оккупации Украины, оккупации столь неожиданной для самих большевиков и поставившей их своей внезапностью в явно затруднительное положение, центральное правительство стало на точку зрения необходимости установления для Украины особого законодательства в зависимости от местных условий.

Впрочем, советское строительство вообще не отличается изобретательностью в своем законодательном творчестве. Если исключить ряд специфических советских учреждений экономического характера, обнимающих круг функций по учету и распределению продуктов и продовольствия, все остальные советские учреждения руководствовались либо старыми законами, взятыми либо буквально, либо пересаженными на новую почву с чисто внешними изменениями и внутренними искажениями. В отношении Украины уступка местным условиям выразилась в том, что советское законодательство в виде московских и петербургских декретов предполагалось вводить на Украине с большей осторожностью, исподволь и в несколько измененной редакции. В первую очередь эта уступка местным украинским требованиям выразилась, как я уже говорил, в особенно осторожном отношении к крестьянству и, в зависимости от этого отношения, ряд декретов был направлен к устранению всех тех острых углов политики севера, которые могли быть особенно болезненно ощутимы населением юга.

Одним из этих «углов», отнюдь не годным для популяризации советской власти на Украине, являлась пресловутая чрезвычайка. Отсюда новый ряд столкновений между главой украинской юстиции Хмельницким и председателем всеукраинской ЧК— Лацисом. Но хотя Лацис и говорил, что Хмельницкий, потерпев фиаско с Петерсом в Москве, ищет реванша в Киеве, тем не менее заправилам всеукраинской чрезвычайки пришлось идти на уступки в смысле некоторого ограничения функций этого «милого» учреждения. Так, рядом декретов от чрезвычайек были отняты функции по борьбе с саботажем, преступлениями по должности и спекуляцией. В ведении ЧК оставались, таким образом, лишь контрреволюция и борьба с бандитизмом; последний рассматривался как одно из проявлений контрреволюции. Другой декрет упраздняет уездные чрезвычайки, деятельность которых, близко соприкасаясь с деревней, особенно раздражала крестьян. Далее, является попытка внести контрольное начало в деятельность «черного кабинета»— президиума чрезвычайки. На судебные заседания президиума делегируется представитель высшей социалистической инспекции.

Среди других мер, направленных к обузданию безобразно самочинных арестов, необходимо упомянуть о харьковском декрете «об упорядочении производства дел о лицах, содержащихся под стражей». Этот специально изданный для Украины декрет вменял в обязанность всем лицам и учреждениям, производящим аресты, передавать дело о задержанных подлежащим органам дознания и следствия в течение 24 часов с момента задержания. Тут же перечислены эти органы дознания и следствия, причем среди них упомянуты и чрезвычайные комиссии.

Пункт 3 этого декрета гласит:

«Все производящиеся аресты учреждения и должностные лица обязаны без малейшего замедления давать народному комиссару юстиции и соответствующим местным юридическим отделам исчерпывающие справки по делам всех задержанных лиц».

Наконец, другим декретом предписывается всем без исключения советским следственным и судебным органам не позже 48 часов с момента задержания предъявить арестованному лицу конкретное обвинение.

Не буду подробнее перечислять все прочие циркуляры и инструкции, которыми центральноукраинское правительство пыталось внести законные гарантии в вакханалию произвола и насилия, столь далеких от социалистических гарантий свободы личности. Все эти мероприятия центра, прекрасно сознавшего всю непрочность внутренней советской позиции на Украине, являлись гласом вопиющего в пустыне и самым откровенным образом игнорировались местными властями, а часто и вовсе не доходили до них. Советское строительство, давшее доступ в ряды политических деятелей не только целой плеяды авантюристов и демагогов, но и проходимцам с уголовным прошлым и бандитам, совершалось на местах весьма грязными и преступными руками.

В результате все, носившие сколько-нибудь государственный и действительно социалистический характер, декреты центра оставались в области благих пожеланий и совершенно не осуществлялись в периферии. Всем известно, как широко практиковались на Украине незаконные реквизиции крестьянских продуктов, с какой враждебностью встречались деревней советские продовольственные отряды. Известны также и многочисленные попытки насильственного вывода крестьян в «коммуну» — одним словом, то «командование» в деревне, о котором говорил Ленин, привело к ожидаемым результатам: слово «коммуна» стало жупелом в украинской деревне, уездные чрезвычайки продолжали существовать, как самодовлеющие единицы, никому не подчиненные, никому не обязанные отчетностью, совершая свое кровавое, бессмысленное и бесстыдное дело в полном пренебрежении к общественному мнению крестьянских масс.

Эти чрезвычайки, уездные и волостные, довершили дело компрометирования советской власти в деревне. И взрывы крестьянского гнева зачастую сметали с лица земли эти деревенские застенки и без помощи и вмешательства Добровольческой армии.

В крупных центрах, например в Одессе, всякие ограничения и урезывания в сфере компетенции ЧК, исходящие из центра, абсолютно игнорировались. Напрасно местный юридический отдел С.Р.Д. тратил свою энергию и напрягал все силы для установления какого-нибудь контроля над деятельностью чрезвычайки; все эти попытки встречали непреклонный отпор со стороны главарей ЧК. Единственная уступка, на которую пошла одесская чрезвычайка, это сообщение в юротдел списков арестованных.

Но какова была реальная ценность этих сообщений. Легко представить себе, насколько бессилен был юротдел проявить какое-нибудь влияние на судьбу жертв чрезвычайки, если списки арестованных доставлялись зачастую тогда, когда о помещенных в эти списки лицах юротдел уже получал сведения из других списков — из кровавых газетных бюллетеней о расстрелянных чрезвычайкой. Попытка юротдела принять от ЧК дела о преступлениях по должности и спекуляции, изъятых из ведения чрезвычайки, также не увенчалась успехом.

Чрезвычайка, после настойчивых требований юротдела, передала ему лишь одну «вермишель», то есть кучу нелепых залежалых дел, из которых не только нельзя было усмотреть каких-либо улик против обвиняемых, но даже трудно было выяснить сущность предъявленного к ним обвинения. Более крупные дела о спекуляции так и остались в производстве ЧК, которая, по замечанию осведомленных советских деятелей, «не хотела расставаться со столь выгодной статьей дохода». И в самом деле, на «контрреволюционерах» одесского типа шубы не сошьешь! А с бандитами дело иметь опасно.

И получилось поразительное явление. Функции секции судебно-уголовного розыска, ведающей по декрету делами о спекуляции, до последнего времени узурпировались чрезвычайкой, а борьба с бандитизмом, составлявшая одну из прямых задач чрезвычайной комиссии, велась секцией судебно-уголовного розыска и велась поистине самоотверженно. Чуть ли не ежедневно лучшие агенты секции арестовывались бандитами среди бела дня и увозились на штейгере в неизвестном направлении. Через несколько дней их трупы находили выброшенными на улицу, изуродованными, со следами страшных предсмертных истязаний. И секция, представлявшая из себя горсточку мужественных, но почти безоружных людей, бывала зачастую атакуема и осаждаема прекрасно вооруженными бандами воров, имевших в своем распоряжении не только ружья и револьверы, но и восемь пулеметов, предоставленных президиумом исполкома бандитскому полку «имени тов.Ленина» и предводительствуемому известным Мишкой Япончиком (Моисеем Веницким). Бандиты вообще прочно обосновались в Одессе. Одним крылом они уперлись в армию, другим в чрезвычайку. Таким образом, власть их была вполне обеспечена.

Также бесплодна была борьба с чрезвычайкой, ведшаяся со стороны ревтрибунала. Согласно декрету вся судебная власть на территории Украины принадлежала исключительно народным судам и революционным трибуналам. В примечании к ст. I этого декрета сказано, что по делам особой важности, требующим безотлагательного решения, чрезвычайным комиссиям предоставляется право вынесения приговоров с доведением об этом в каждом отдельном случае до сведения революционных трибуналов. Правило это совершенно игнорировалось одесской чрезвычайкой, которая ни разу ни об одном вынесенном ею приговоре не известила ревтрибунал. Если же принять во внимание, что заключенные в ЧК иногда месяцами ждали своей кровавой участи, то станет ясным, что ни о какой необходимости в вынесении «безотлагательного решения» не могло быть и речи.

Вообще одесская чрезвычайка не доверяла трибуналу и передавала на его суждение лишь такие дела, которыми в чрезвычайке не интересовались. Иногда передача дела ревтрибуналу являлась результатом хлопот и усиленных просьб. Так случилось с делом генерала Эбелова, которое было передано трибуналу, закончено следствием особым народным следователем и назначено уже к слушанию. Чуть ли не накануне судебного заседания дело, по настоянию чрезвычайки, в связи с объявлением красного террора было затребовано президиумом и возвращено в ЧК, где участь генерала Эбелова была решена палачами.

Я нашел нужным предпослать моим личным воспоминаниям о долгих днях, проведенных в чрезвычайке, этот короткий общий обзор с целью подчеркнуть то положение, что чрезвычайка существовала и действовала, как нечто, стоявшее не только вне всякого закона и контроля, но и вне пределов досягаемости. Неудивительно, что всякий, за кем закрывались двери ее, считал себя заживо похороненным. И если кто-либо и вырывался из ее дышащих

кровью стен, он выходил на волю физически и морально разбитым, навсегда искалеченным человеком.

Обращаясь к системе изложения моих воспоминаний, я считаю необходимым пояснить, что все рассказанные события и отдельные эпизоды приведены мною с почти фотографической точностью. Самый порядок группировки отдельных фактов лишь в общем совпадает с действительностью. Факты, свидетелем которых я не был лично, изложены мною со слов нескольких очевидцев и включены в повествование лишь после тщательной проверки их. Фамилии жертв одесского застенка, моих товарищей по несчастью, в большинстве случаев приведены подлинные. Лишь фамилии очень немногих лиц мною изменены или сокращены по различным этическим соображениям. Впрочем, я уверен, что большинство узников чрезвычайки без труда узнает в них живые фигуры своих бывших товарищей. Что касается имен и фамилий «деятелей» чрезвычайки, то я намеренно избегал их называть, дабы мои скромные воспоминания были бы свободны от упрека в доносительстве. Общество должно знать, что делалось в чрезвычайке... Установление виновников ее деятельности— задача правосудия.

Арест

Меня арестовали под вечер. Это было так. Пришли двое матросов и какой-то третий, тщедушный субъект с беспокойно бегающими глазками, в студенческой фуражке. Субъект извлек из кармана засаленный мандат со своей фотографической карточкой и роковой треугольной печатью, на которой значилось «У.С.С.Р. одесская чрезвычайная комиссия».

—Вы арестованы,— сказал субъект.

И с губ моих невольно вырвался обычный машинальный вопрос, всю бесполезность которого я ясно ощущал:

—За что?

И в мозгу торопливо, обгоняя одна другую, стали проноситься воспоминания моей жизни и деятельности, в которых я тщетно пытался уловить причину ареста.

«За что?..»— так же машинально повторял я мысленно, но при всем напряжении мысли не мог припомнить за собой какого-либо определенного предосудительного с точки зрения большевизма деяния.

А может быть, я действительно неосторожно выразился, думал я, может быть, я обнаружил чем-нибудь тот естественный, внутренний протест против тирании советского режима, который переживал каждый интеллигент.

—Садитесь,— сказал субъект и достал из кармана печатный бланк протокола.

Меня обыскали. Отобрали имевшиеся при мне документы, удостоверяющие личность, и все наличные деньги. Во время обыска один из матросов сунул в карман полфунта чаю, другой овладел моим сахаром. Субъект в студенческой фуражке заполнил бланк протокола ответами на обычные вопросы об имени и

фамилии, роде занятий и внес туда же сведения об отобранных у меня документах и деньгах. Чай и сахар, а также золотые часы и два brasлета жены в протокол не попали.

—Идемте!— сказал студент.

—Сейчас вернется жена,— сказал я.— Она пошла на пять минут к соседям, разрешите мне подождать ее, проститься.

—Не могу,— сказал субъект.— Об аресте ей передаст комиссар дома. Впрочем, вам беспокоиться нечего. Продержат дня два и отпустят, раз вы невиновны.

—Но что же мне вменяется в вину?

—Контрреволюция. Донос был.

После некоторого колебания я вдруг заявил:

—Почему же вы не внесли в протокол драгоценности моей жены? Эти безделушки стоят сравнительно пустяки, но это для нее память. Потом у нее ничего кроме них нет, деньги вы все забрали, ей не на что будет существовать. Она могла бы хоть заложить эти вещи.

—Какие браслеты?— спросил субъект.— Я не брал ничего.

—Да, но вот товарищи матросы...

Один из матросов, белобрысый, с рысьими крошечными, совершенно бесцветными глазками и квадратной плоской физиономией, как я узнал впоследствии, латыш, сощурился на меня.

—Что он врет!— сказал матрос студенту.— Мы ничего не брали. Никаких браслетов там и не было. Это все их буржуйские штучки, мать их...

—Совершенно правильно, товарищ,— нагло подтвердил другой.

—Чего же вы?— недовольно пробормотал субъект.— Вероятно, жена спрятала эти вещи, а вы на людей понапрасну сваливаете. А знаете ли вы, что им за это грозит? У нас за это никакой пощады, прямо «к стенке». Чистый «размен».

Я не стал возражать, хотя собственными глазами видел, как вещи исчезали в карманах матросов.

—Ну, ступай!— проскрежетал латыш, толкнув меня прикладом в спину.

И мы пошли. Когда я покинул квартиру и вышел на улицу, меня обьяло ощущение какого-то нравственного оупения и полного безразличия. Я чувствовал, что, очутившись во власти этих людей, беззастенчиво наглых, мне нечего ждать правосудия или даже намека на какую-нибудь справедливость.

«Это начало... это смерть...»— мелькнуло у меня в голове.

Меня привели в обширную комнату в доме №7 по Екатерининской площади. Здесь сидел дежурный следователь, молодой человек с бритым симпатичным лицом, по-видимому студент. Он, просмотрев мои документы, вписал мою фамилию в дежурную книгу.

—В чем вас обвиняют?— спросил следователь.

—Я вас об этом хочу спросить,— возразил я.

—Однако вы, вероятно, что-нибудь да чувствуете за собой?

—Ровно ничего.

—Гм. Все так говорят. Но, впрочем, возможно, конечно, что это и простое недоразумение, донос. Хотя у нас каждый донос сперва проверяется агентурой и лишь после этого производятся аресты.

—Да, товарищ, но кто эти агенты, которым вверяют судьбу людей?

Мне вспомнились арестовавшие меня матросы.

—Агенты?— Следователь пожал плечами.— Да, конечно, есть разные,— уронил он.— Но ведь следствие-то ведется следователями, проверенными коммунистами, юристами. Одним словом, все выяснится. Беспокоиться вам нечего. Посидите дня два и отпустят, если за вами ничего нет.

Разговор со следователем несколько ободрил меня. Может быть, и в самом деле все эти толки о чрезвычайке и ее застенных ужасах и произволе преувеличены, подумал я. Ведь вот есть же здесь и следователи, такие, как этот молодой человек, студент, производящий впечатление корректного и интеллигентного человека. Я стал ощущать некоторую надежду. В будущем я убедился, что студенческую фуражку здесь трепали и позорили субъекты, ничего общего с университетом не имевшие.

От следователя меня повели к коменданту. Комендант, молодой блондин, извлек регистрационную карточку красного цвета и начал вписывать туда требуемые сведения обо мне. В комендантской находилось несколько агентов, по большей части юношей. Они делились впечатлениями о каких-то удачных обысках и раскрытых «делах».

—А ты знаешь, Сенька,— обратился к коменданту один из юношей.— У Лёни есть кокаин. Целых пять грамм.

—Уступи грамм,— оторвался комендант от регистрационной карточки, обращаясь к тому, кого звали Лёней.

—Заплати 200 рублей.

—Вот сволочь! Спекулянт! Ведь я отлично знаю, за что ты получил кокаин. Он тебе и двух копеек не стоит.

—Ничего ты не знаешь. Во всяком случае, он мой, и я могу за него выручить по 200 рублей за грамм.

—Да ничего ты и не будешь выручать. Сам вынюхаешь весь.

Матрос, приведший меня, вмешался в разговор:

—Что вы при постороннем человеке торговлю завели! Отправьте его в камеру, а там разглагольствуйте.

Комендант дописал листок, и меня увели.

В камере

Меня провели через ворота на обширный двор дома Левашева. Когда-то тут помещалась женская гимназия. Обширный двор, на котором резвились юные девицы, был тщательно выметен арестованными, которые и сейчас, при наступлении сумерек, возились с тачками и метлами. Посредине двора, на борту безводного фонтана, сидел часовой, от времени до

времени ворчливыми выкриками понукавший работавших. Я обратил внимание на то усердие, с которым все эти представители интеллигенции и буржуазии выполняли свою черную работу. В самой работе, конечно, ничего позорного или унижительного нет, но мне тогда же бросилось в глаза то злорадное пренебрежение, которым наши тюремщики подчеркивали жалкое и зависимое положение узников. Я обратил внимание на небольшого, с всклокоченными волосами, обильно обросшего бородой арестованного. Он нес полное ведро сора, высыпал его, а затем принялся мыть и чистить песком это ведро около крана. Я узнал в нем профессора Щербакова.

В это время во двор ввели партию арестованных человек десять. Все они были запыленные и усталые. Вороты запачканных тонких сорочек были распахнуты, по небритым щекам струился пот. Эти пришли с работ. Меня проводили через двор в помещение для арестованных. Меня принял караульный начальник и повел по коридору. У дверей одной из камер он остановился.

—Комиссар камеры,— крикнул караульный начальник.— Примите арестованного.

Я вошел в камеру. Когда-то здесь был класс. Теперь комната была разгорожена деревянной перегородкой, доходившей до половины стены, на две части. В каждом отделении вдоль стен были расположены деревянные козлы— нары. Между нарами стоял стол, вокруг которого сидела группа арестованных. На окнах я заметил решетки, по-видимому недавно вставленные. Я вспомнил, что во дворе я видел еще несколько решеток, над которыми возились плотники. Мне вспомнились слова поэта:

Мы села— в пепел, грады— в прах,

В мечи— серпы и плуги!

...И школы— в тюрьмы, пронеслось в моих мыслях. Между тем тот, которого караульный начальник назвал комиссаром, предложил мне следовать за собой. Во втором отделении за перегородкой он приказал мне сесть и извлек из-под тюфяка своей койки (остальные арестованные спали на голых досках) большую книгу, служившую когда-то классным журналом, страницы которого пестрели фамилиями бывших питомцев моего училища.

Комиссар начал меня допрашивать. Вокруг нас столпилась группа арестованных, молодых людей, одетых во френчи и гимнастерки, производивших впечатление военных. Как оказалось потом, это были красноармейцы, юноши из интеллигентных семей.

—За что вас арестовали?— строго спросил комиссар.

—Я и сам не знаю. Мне говорили, что через дня два отпустят.

Взрыв дружного хохота покрыл мои слова.

—Так вы арестованы на два дня?— заливался хохотом один из красноармейцев.— Поздравляю вас. А вон тот,— он указал на сидевшего около окна молодого еврея-студента,— арестован был на полчаса. Так и сказали: посидите полчаса. А сидит он уже, слава Богу, второй месяц. А еще сам сотрудник «чеки». Сколько же это сидеть они будут, если на два дня их посадили? Высчитай-ка, комиссар!

—Да,— добавил другой красноармеец.— Нас здесь восемь человек. Советские служащие мы, красноармейцы. Как свидетелей вызывали. Мы просидели полдня в ожидании допроса. В это время явился какой-то член президиума или заведующий отделом, увидел нас и спросил, что

мы здесь делаем. Мы и ответили, что вызваны по делу такого-то свидетелями. «Ах, вы по делу такого-то,— закричал,— арестовать их всех!» Вот и сидим уже три недели.

—А обвинение вам предъявили?— спрашиваю я.

—Обвинение? Нас даже не допрашивали. Так вот сидим и гнием. А сколько будем сидеть— никто не знает.

—Чего там не знать. Пока не «разменяют» и будем сидеть.

—Разменяют?— спросил я.

—А вы не знаете, что это значит? Объясни-ка, Заклер, ты же комиссар.

Новый взрыв хохота.

—А это, видите ли,— начал Заклер,— в Одессе недостаток в мелких деньгах ощущается. Так вот и открыли здесь меняльную контору. Как к затылку вам колыт приставят, так череп на кусочки и разлетится.

К столу подошел брюнет интеллигентного вида, по-видимому, еврей.

—Как вам не стыдно человека разыгрывать,— сказал он.— И без того тяжело ему, а вы еще и терроризируете. К чему это?

—Надо с него допрос снять, товарищ литератор,— важно заметил Заклер.

—Вы контрреволюционер?— обратился он ко мне.

—Я? Нет, не думаю.

—Дело в том, что я вам советую лучше во всем нам признаться. Мне кажется, я вас знаю. Вы были добровольцем?

—Я? Никогда не военной службе не состоял.

—Рассказывайте. Значит, в варте были. Ты запомнил их лицо, Симонов?— обратился он к одному из юношей-красноармейцев.

—Я никогда в варте не служил,— возразил я.

Симонов, подбоченившись, подошел ко мне и с глубокомысленным видом уставился на меня. Но затем тут же фыркнул и отвернулся.

Рассмеялся и сам Заклер, не выдержав принятой роли. Я догадался, что меня, как новичка, попросту разыгрывали.

—Я вам еще раз говорю, прекратите эти издевательства,— сказал вступившийся уже за меня литератор.— Вы им не отвечайте, товарищ. Они такие же арестованные, как и я с вами.

—И в самом деле, неужели у вас, господа, совести нет,— отозвался благообразный старик с открытым ясным взглядом, сидевший в глубине комнаты на дощатых нарах.— Неужели вы не считаетесь с самочувствием человека? К чему усугублять его горе.

—Ну ладно,— добродушно заметил Симонов.— Вы нас простите, товарищ. В этом проклятом месте от тоски не знаешь, что делать с собой. Вот мы каждого новичка и допрашиваем. Все же развлечение.

—Хорошее, нечего сказать, развлечение,— заметил литератор.— Идем, товарищ, я вас около себя на нарах устрою. В том отделении спокойнее. А здесь эта несчастная молодежь просто жить не дает.

Через некоторое время мой покровитель усадил меня на нарах и стал вводить меня в курс режима чрезвычайки.

—Конечно,— говорил он,— вам сейчас не до еды. В первый день я в рот ничего не брал и есть вовсе не хотелось. Но ко всему привыкаешь. Главный вопрос— это хлеб. Хлеба дают 1/4 фунта утром. И это на целый день. Затем ложечку сахара, а часов в 7— борщ, состоящий из одной капусты. На такой пище неделю не протянешь. Надо свою пищу иметь. Многие получают посылки из дому. Передача два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Но половину эти мерзавцы растаскивают. Караульные и «менялы»— расстрельщики тоже. Вижу, что у вас никаких вещей с собой нет. Ну, ничего, я вам свое пальто дам.

К нам подошел худощавый арестованный, брюнет с бородкой. Он мне также сказал несколько слов одобрения.

—Вот смотрите на меня,— сказал он.— Я советский служащий и занимал приличный пост. Сам я присяжный поверенный, конечно, не коммунист. Обвинения мне никакого не предъявлено, сижу уже дней 10. Знаю, что против меня ведется интрига, что кто-то заинтересован в том, чтобы меня «разменяли». И я уверен, что меня, как здесь цинично выражаются, разменяют. И вот, видите, живу, влачу жалкие дни, как скот, приведенный на убой. Ем, сплю... и никакой надежды ни на что.

—Полно, дорогой Владислав Петрович,— прервал литератор.— Я почему-то уверен в том, что вы будете свободны.

Миронин, так звали присяжного поверенного, уныло махнул рукой, улыбнулся и лег на свои нары.

—Вот вам человек,— заговорил литератор,— который две недели тому назад еще мог сделать так много добра. Он буквально вырвал из чрезвычайки десятки людей. А теперь его обвиняют в контрреволюции, злом саботаже, выразившемся в хлопотах за освобождение ряда контрреволюционеров— и, говорят, положение его очень серьезное. Вот он ходит, всех утешает, советы дает, прошения пишет, а сам знает, что он— обреченный. Ужасно его жаль. Я с ним очень подружился. Если б у большевиков были бы такие, как он, сотрудники, можно было бы жить. Впрочем, тогда бы и самого большевизма бы не стало. Я литератор, был меньшевиком с.-д., а теперь оказался контрреволюционером. Конечно, если то, что происходит, может называться революцией— я действительно контрреволюционер.

В это время двое из наших товарищей принесли обед. Два ведра. На каждое отделение по ведру, наполненному желтоватой горячей водой с капустой.

Ведро поставили на стол и на него буквально набросились все эти изголодавшиеся люди. Наперебой, толкая друг друга, арестованные погружали самодельные ковши из коробок от консервов и стаканы, смастеренные из бутылок, в мутную желтую жидкость. Каждый стремился выловить как можно больше гущи. Больно было смотреть на этих несчастных представителей интеллигенции, людей с культурной психикой, с изощренными вкусами,

которые в своей ужасной моральной приниженности чуть не ссорились из-за ложки скверных помоев.

Мое смущение не скрылось от литератора.

—Вам с непривычки тяжело на это смотреть,— сказал он.— Да, до всего может довести людей эта скотская жизнь. Кроме матерной брани, ничего не слышишь со всех сторон. Этот цинизм, кровавый цинизм, которым здесь дышит всё, создает настоящий кошмар. На нас смотрят, как на скот, приведенный на убой. Но и со скотом все же лучше обращаются. Мы просто смертники, большинство из нас обреченные. И наши тюремщики нам это ежеминутно подчеркивают. И должен признаться, в этой атмосфере незаметно для себя нравственно тупеешь и опускаешься. Страшно и стыдно смотреть в глаза один другому. Не хочется даже думать об ожидающей тебя участи. Да и к чему? К кому взывать, у кого добиваться справедливости? Разве только к Богу. И вот, не странно ли, что в этой юдоли смерти все заняты одной заботой о желудке. Чем бы его наполнить. Это какое-то инстинктивное, чисто животное стремление к поддержанию своей жизни. Ибо в мыслях отлично сознаешь, что уже ничего тебе не нужно. Зачем есть, пить, спать, если каждую минуту могут вызвать на расстрел. Многие даже одеяла домой отсылают и верхние вещи. Чтобы палачам не достались.

—Как палачам? Разве вещи не возвращают семьям?

—Ничего подобного. После расстрелов приходят палачи и требуют у арестованных выдачи им вещей расстрелянных. Тут же и дележка происходит. Впрочем, сами воочию со всеми этими прелестями познакомитесь.

В тот же день перед отходом ко сну литератор предупредил.

—Остерегайтесь Заклера. Он старший комиссар, кажется, уже приговорен к расстрелу, и теперь спасает свою жизнь тем, что доносит обо всем, что в камерах делается. Одним словом, провокатор. При нем ни о чем таком не говорите.

В это время в коридоре послышался шум. Часовые, стоявшие в коридоре у дверей каждой камеры, заволновались. Наш часовой отворил дверь и быстро пересчитал арестованных.

—Все на лицо,— ответил комиссар.

—Гадис, Гадис идет!— раздались тревожные голоса в камере.

—Ложитесь все, черт бы вас побрал!— закричал Заклер.

Дверь камеры отворилась, и на пороге появился среднего роста плотный, коренастый мужчина. Лицо его было бритое, одутловато-круглое с парой серых бесцветных глаз, которые быстро и угрюмо перебежали из-под полуопущенных век. В руке его чернел наган со взведенным курком.

—Чего не спите!— желчно закричал Гадис.— Я кому сказал, чтобы в одиннадцать часов у меня все спали! Морды, что ли, вам бить, сволочь! И грязь я вижу. Ящик с сором не вынесли... Языком заставлю вылизать другой раз, мать вашу... Я вас научу гигиене!

—Ящик не вынесли, ибо после обеда нам не позволили во двор выходить,— заметил кто-то.

—Молчать. Это меня не касается. Не смей возражать мне. Вот я вас, сукиных сынов, велю прикладом лупить, как в доску. Я вас научу.

Новый взрыв брани посыпался на арестованных. Гадис пришепetyвал и задышался в этом потоке слов.

Заметив, что на мне ботинки, он подскочил ко мне и замахнулся револьвером:

—Я приказал снимать обувь или нет?!

—Я сегодня первый день здесь,— ответил я.

—То-то же. Марш сор выносить. Буржуи паршивые. Лакеев вам, может быть, надо?

Вскоре Гадис удалился, но крики его еще долго раздавались в верхних коридорах, где помещались остальные камеры.

Я, кое-как устроившись на голых, неровных досках, пытался забыться. Но сон долго не посещал меня. Кроме того, сильно мучили насекомые.

—Уже начали чесаться,— заметил мой новый приятель— литератор.— Да тут всего много: и блох, и вшей, и клопов. От последних немного свет спасает. У нас электричество всю ночь горит. При свете они не так кусают. Говорят, клопы боятся света.

А за дверью, в коридоре громко спорили и ругались часовые. Я давно уже прислушивался к их разговору. Спор шел о какой-то лишней порции мяса, полученной одним из них. Спор переходил в крик, гулко разносимый каменными стенами пустынного коридора и подхватываемый эхом на лестнице. Спать было невыносимо.

—Вот видите,— сказал Миронин.— За людей нас не считают, даже спать не дадут.

—Смертники и есть,— тихо отозвался старичок Пиотровский, долго и истово молившийся в своем углу у окна и укладывавшийся теперь ко сну.

Старик долго еще лежа бормотал молитвы. В коридоре кто-то уговаривал споривших часовых.

—Тут товарищ ни при чем,— раздался монотонный голос.— Все зависит от того, какой повар. На кухне есть один молодой, так тот порции правильные выдает... Равные... А другой — тот новый. Он еще не приноровился... Третьего дня, как размены были, наш караул всю ночь не спал. А утром нам хлеба не было... Вот это без внимания действительно оставить нельзя...

Дико и страшно было слушать эти равнодушные речи— здесь, где, казалось, из каждого угла глядела на нас страшная маска смерти, где слилась в один безмолвный задушенный вздох бездна невыразимых страданий и невыплаканных слез. Я не спал до утра.

Новые знакомства

Утром меня разбудили мыть полы в камере. Когда я выходил в коридор, мне показали на худощавого, бледного маленького старичка. Он старательно справлялся со своей половой тряпкой и усердно тер ею пол. Мне сказали, что это известный генерал Эбелов. Было невыносимо тяжело смотреть на этого истрадавшего старца, превратившегося в одну ходячую тень. Он уже давно сидел в чрезвычайке и был недавно переведен в тюрьму, так как дело о нем передали в ревтрибунал. Но незадолго до моего заключения он был снова затребован из тюрьмы в ЧК.

Вместе с ним убирал коридор юноша лет 17–18. Я узнал, что фамилия его Федоренко. Он был сыном начальника дивизии, расстрелянного здесь, в ЧК, на глазах несчастного мальчика.

Юноша всё время пытался избавить Эбелова от непосильной для больного старика работы. Но Эбелов благодушно отказывался от его помощи.

—Ничего, ничего, голубчик, я еще поработаю... Вот меня из тюрьмы перевели, вероятно, дело мое на прекращение пойдет. Да и в самом деле, что они могут против меня иметь? Мне ведь 65 лет... Я уже давно не у власти... Вероятно, освободят... Жена хлопочет... Ничего, Бог даст не долго еще терпеть... Поработаем...

И старик, приветливо улыбаясь, тащил полное ведро воды, сгибаясь под непосильной для него тяжестью.

—Он надеется и верит в свое освобождение,— заговорил подошедший Миронин.— А мне кажется, что бедный старик погиб. Вы не знаете, какого труда стоило перенести его дело в ревтрибунал. Кажется, вчера его внезапно перевели из тюрьмы в ЧК и дело его, как я слышал, истребовали из ревтрибунала сюда.

Все это зловещие признаки. Если бы хотели освободить, освободили бы прямо из тюрьмы. Кроме того, я боюсь, не находится ли его перевод сюда в связи с объявленным красным террором.

—Скажите,— спросил я,— а разве всех, кого переводят из тюрьмы, расстреливают?

—Нет, но многих из переведенных расстреляли,— ответил Миронин.— А впрочем, здесь ничего нельзя ни узнать, ни предугадать.

В тот же день я познакомился с моими компаньонами по камере. Со мной вместе сидел известный польский художник-баталист Кржижановский. Кржижановский— единственный художник, рисовавший батальные картины с аэроплана. С целью ознакомиться с жизнью в воздухе он поступил в летчики. Имя его известно всей художественной Европе. Заключен в чрезвычайку он был по обвинению в контрреволюции, а именно в причастности к Добровольческой армии, как летчик. Кроме того, его содержали в качестве польского заложника. Кржижановского тоже перевели было в тюрьму, но затем вернули в ЧК. Он истолковывал это обстоятельство в самом неблагоприятном для себя смысле. Прекрасный товарищ, благородный, прямой и честный человек, Кржижановский спокойно и мужественно ждал своей участи. По удивительному стечению обстоятельств я впоследствии сидел в той самой камере (№138) Одесской тюрьмы, на стенах которой карандашом расписался Кржижановский.

Кржижановский был дружен с другим поляком, Скачинским, обвиняемым в контрреволюции. Скачинский— симпатичный блондин с белокурой веером бородкой, худощавый и подвижный. Дело его было очень серьезно. Ему инкриминировалась открытая пропаганда против советской власти. Он как агроном служил при каком-то сельском комбеде и обратил внимание уездного исполкома на крупные хищения, имевшие место в том сельском хозяйстве, где он работал. Человек необыкновенно прямой и правдивый, Скачинский прямо заявлял в комбеде, что советская власть, находящаяся в руках воров и безграмотных проходимцев, не может существовать. В ЧК Скачинский не отрицал своих слов.

—Я далек от политики, я не русско-поданный и меня непосредственно русский строй касаться не может,— заявлял следователю Скачинский.— Но я не верю во власть вашу, я ее не могу уважать.

За Скачинского очень хлопотала его жена, энергичная, настойчивая женщина. Она умела прямо проникать к председателю чрезвычайки Калениченко и повсюду водила свою дочь, прелестного ребенка. Однажды девочка, во время беседы матери, доверчиво подошла к грозному главе одесского застенка и обняла его. Произошло это так непосредственно, случайно, что суровый председатель растрогался.

—Нет,— сказал он,— я не могу казнить отца этого ребенка, хотя вина его несомненна.

Тем не менее, Скачинский сидел уже полтора месяца. Ввиду несомненности имевшихся против него улики, Калениченко не решался его освободить, хотя не раз высказывал свое участие к нему.

В тот день, о котором я повествую, Кржижановского вызвали на допрос, и он долгое время не возвращался. В камере царил смутное волнение. Передавали, что днем привезли ящик коньяку и вина, а это было зловещим предзнаменованием. Арестованные, от чуткого внимания которых ничего не ускользало, заметили, что доставка в чрезвычайку вина всегда сопровождалась расстрелами. Это палачи перед казнью совершали свою кровавую тризну... В этот день настроение у всех было особенно подавленное.

—Вы чувствуете, какая сегодня атмосфера?— проговорил, подойдя ко мне, литератор.— Вы заметили этого латыша Абаша. Он же пьян. И Володька тоже...

Под именем Володи вся чрезвычайка знала одного из красноармейцев, молодого парня с миловидным лицом. Он ходил обыкновенно в ярко-красных штанах фасона галифе, в франтовских сапогах, с выпущенной из-под козырька фуражки прядью белокурых волос. Литератор взволнованно продолжал.

—Я чувствую, что будут расстрелы. В такие дни не находишь себе места. Я положительно с ума схожу. Вы посмотрите на всех наших. Они мечутся по камере, точно звери в клетке... Вон как, слышите, Володька на дворе на кого-то набросился, кричит... Он пьян... все пьяны. И некуда скрыться, нечем забыться от этого ужаса!

И взявшись руками за голову, литератор быстро забегал по камере. Жуткое, противно сосущее под ложечкой волнение охватило меня. Я прошелся по коридору. Во всех камерах царил то же гнетущее, напряженное ожидание. С блуждающими глазами, растерянные и бледные, несчастные узники сидели группами, шепотом ведя между собой беседу.

—Вот они все номера на тот свет,— размышлял я.— Каждый с содроганьем ждет, когда выкрикнут его номер. И никто не знает, чей сегодня конец придет.

И в то же время я невольно поймал себя на радостной мысли:

—Во всяком случае, мне ведь ничего не грозит... Ведь меня еще не допрашивали, обвинения не предъявляли... Нет, во всяком случае, не меня. Всех, только не меня.

И тотчас же мне стало стыдно моей животной радости.

—Ну не сегодня, так завтра придет и моя очередь... Лишь бы скорее. Счастлив тот, кто уже перешагнул порог вечности, кто избавился от этого кошмарного ожидания, от этой угнетающей неизвестности.

Я вернулся в камеру. Вскоре возвратился художник Кржижановский. Его обступили, стали забрасывать вопросами.

—Меня вызывал председатель,— говорил Кржижановский.— Он был со мной очень ласков. Сказал, что меня освободит, что мне ничего не грозит. Он только поставил мне условием написать картину на тему «Да воссияет над миром красная звезда». Если, говорит, хорошо проникнетесь этой идеей, сумеете передать ее, я вас освобожу.

Мы все поздравляли его и искренно радовались.

—Вы несомненно выдержите экзамен,— говорил литератор.— Интересно, представляете ли вы себе план будущей картины...

Кржижановский таинственно улыбнулся.

—Я уже кое-что надумал,— сказал он.— Завтра сяду за работу.

—Но подумайте только,— заволновался Миронин,— какое самодурство! Мыслимо ли ставить жизнь человека в зависимость от того, напишет ли он картину на заданную тему... Ведь это средневековые какое-то!

—Какое там средневековье!.. Просто страшная сказка Андерсена или Шахерезады,— пожал плечами литератор.

И действительно все, что я видел здесь, мне представляется сейчас, когда я пишу эти строки, каким-то кошмарным сном.

Кошмары

Перед обедом в камеру нашу ворвался матрос-латыш Абаш с каким-то другим низеньким красноармейцем в круглой барашковой шапке. Мне часто потом приходилось видеть его лицо в кошмарные ночные часы. Меня поразила в нем та же, подмеченная у других палачей чрезвычайки стеклянная неподвижность глаз, с сильно увеличенными зрачками, и матовая бледность лица.

Как я узнал, в чрезвычайке все злоупотребляли кокаином, за который здесь готовы были на всё. Много услуг можно было добиться от всей этой опричнины за несколько грамм блестящего белого порошка. Под кокаином решали судьбу людей, под его же наркотическим действием отправляли их на тот свет.

Абаш,— я узнал в нем того матроса, который производил у меня обыск,— пошатываясь, ввалился в камеру, перебегая хищными бесцветными глазками от одного арестованного к другому.

—Кто здесь у вас помещики, землю кто имеет?— крикнул он.

С нар отозвалось два человека. Оба были немцы-колонисты, благообразные старики. Их привели к нам дня два тому назад, причем до сих пор их никто не допрашивал, и никакого обвинения им не предъявляли. У каждого из них было десятка два-три десятин земли, которые они личным трудом своим обрабатывали уже в течение полувека.

—Как вас звать!— крикнул Абаш.— Записывайте фамилии,— добавил он красноармейцу.

Красноармеец в круглой шапке начал царапать фамилии немцев огрызком карандаша на лоскутке бумаги, который он приложил к стене. При этом его заметно качало. Записав фамилии, Абаш со своими товарищами так же шумно, стуча сапогами, вывалились из

комнаты, и вскоре их крики и ругательства слышались из соседней камеры. Жуткая тишина объяла нас всех.

—Зачем вы отозвались?— тоскливо спросил немцев Миронин.

—А почему нет?— степенно возразил немец.— Они спрашивали, у кого есть земля, мы и сказали правду. К чему лгать, все равно ведь узнают. И чего нам бояться? Мы еще и у следователя не были, никакого против нас обвинения нет.

—Как глупо, как невыносимо глупо погибнуть таким образом,— тихо простонал Миронин.

—Вы разве думаете, что их для этого записали?— прошептал Пиотровский.— Скажите, я не должен был отозваться; я земли не имею, я только управляющий имением.

—Ну, конечно, вам незачем было называть себя. Да и им тоже не следовало. Что это, в самом деле, за соби́рание сведений посредством двух пьяных полуграмотных мерзавцев?

Через час, вскоре после обеда, опять послышался топот ног по коридору. Явился Гадис с каким-то списком в руках в сопровождении Абаша, того же красноармейца и караульного начальника. Миновав нашу камеру, вся эта компания ввалилась в соседнюю. Гадис стал вызывать фамилии арестованных. Я слышал, как он выкрикнул между другими фамилию генерала Эбелова.

—А вещи брать с собой?— спросил Эбелов.

—Нет, пока не надо,— ответил Гадис.— За вещами потом зайдете.

—Значит, я на освобождение,— взволнованно сказал Эбелов.

—Да... вероятно... Там еще некоторые формальности остались... Ну, торопитесь, живее, живее...

Я стал у дверей нашей камеры, когда Эбелов проходил мимо. Старик был радостно возбужден и успел прошептать нам:

—Ну, вот видите... Сказали: на освобождение. Я так и думал: ведь я никому зла не сделал... Мне уже 65 лет... Прощайте, друзья мои, даст Бог, еще встретимся...

А через час те же палачи пришли за его вещами. Генерал до последней минуты верил в конечное торжество своей невинности.

В этот вечер опять являлся Гадис и велел запереть все камеры на ключ.

—И чтобы никого не выпускать, даже в уборную!— крикнул он часовому.

Липкая, захватывающая дыхание жуть овладела всеми нами. Даже обычные вечерние беседы за большим столом не клеились.

Все разлеглись по своим нарам, раздавленные, полубезумные. Разговоры велись тихим шепотом, а при каждом звуке шагов в коридоре все вздрагивали и обращали головы к двери. И дверь еще два раза отворялась в эту ночь. В первый раз Гадис со своей свитой явился и назвал фамилии обоих немцев-колонистов. Они спокойно, не спеша встали, перекрестились и расцеловались друг с другом.

—Прощайте, господа,— твердо проговорил один из колонистов, пожимая руки ближайшим соседям. Несколько рук с болезненным, страстным участием протянулись к нему.

—Ну, вы чего там расшевелились, сволочи,— неистово набросился красноармеец в барашковой шапке.— Марш по местам! Кто голову подымет, тому прикладом по черепу дам.

Их увели. А во второй раз дверь отворилась перед окончательно охмелевшим от крови и вина Абашем, Володькой и тем же красноармейцем. Абаш бессмысленно вращал озверевшими, оловянными глазами и заплетающимся языком бормотал:

—Комиссар... Вещи немцев давай... Да, чтобы ничего не пропало, слышишь, а то сам знаешь...

Комиссар камеры трясущимися руками стал передавать пьяным палачам вещи немцев.

—А хлеб, хлеб у них, сволочей, белый был,— настаивал Володька.— Где хлеб... Ты у меня смотри, берегись утаить что-нибудь, потому— мы всё знаем по счету.

Забравши вещи, они вышли в коридор, где начался дележ. Вскоре споры и брань их смолкли. Наступила гнетущая тишина. Некоторые погрузились в тяжелый беспокойный сон, который явился как реакция после бурных переживаний этой ночи. Во сне многие разговаривали и метались по нарам... Другие до утра пролежали с широко открытыми глазами. А со двора доносилась песня часового:

Яблочко, куда ты котишься,

Попадешь в чеку— не воротишься.

Красный террор

В нашу камеру снова перевели из тюрьмы трех арестованных. Все трое— совсем молодые люди. Они обвинялись в том, что будто бы вымогали взятку в 20 тысяч рублей у одной небезызвестной в Одессе особы— при производстве у нее обыска. Эти три лица, равно как их дело, заслуживают нашего внимания.

Первый из них был агентом секции судебно-уголовного розыска и притом выдающимся сыщиком. Его изумительному розыску обязаны были раскрытием злоупотреблений известного одесского коменданта Домбровского, он же, рискуя ежеминутно жизнью, вел неустанное преследование обнаглевших одесских бандитов. Деятельность его давно обратила на себя внимание преступного мира, и воры всячески искали случая разделаться со своим опасным преследователем.

Второй из трех товарищей был молодой художник Кислейко. Он служил в комендатуре, и ему, между прочим, был поручен обыск в одном доме, подозреваемом в сношении с ворами и в укрывательстве их. В качестве понятого Кислейко пригласил третьего товарища— молодого инженера Эдуарда, или как его называли друзья— Дика Луневского. Красивый, женственно мягкий и необыкновенно симпатичный, Луневский обвинялся лишь в том, что присутствовал при этом обыске, во время которого ничего подозрительного обнаружено не было.

Агент Колесников упорно отрицал свою вину. Он совершенно основательно указывал на то, что раз ничего предосудительного обыском не установлено, то незачем было и вымогать взятку. Секция суд. угол, розыска дала отзыв о Колесникове, как об агенте испытанной честности. Кислейко, упрямый хохол, не желал давать по делу никаких показаний. Луневский чистосердечно и правдиво рассказал всю подоплеку дела. У той особы, у которой произвели обыск, были личные счета с невестой Кислейко. Желая ей отомстить, Кислейко, имея от Колесникова неблагоприятные данные о личности этой госпожи, воспользовался случаем и

решился сам проверить эти сведения. Но ввиду того, что обыск результатов не дал, Кислейко, по легкомыслию, разорвал протокол. Как мне объяснял впоследствии Луневский, Кислейко уничтожил протокол потому, что в нем была упомянута фамилия его невесты. Не имея возможности лично свести счета с неуловимым Колесниковым, бандиты подослали своих агентов к госпоже Х., вымогая у нее деньги от имени Колесникова. Х. донесла об этом в чрезвычайку, и все трое оказались арестованными. Такова в общих чертах эта темная история.

Все трое были сильно взволнованы. Они с тревогой расспрашивали о судьбе переведенных из тюрьмы лиц. Узнав о том, что они расстреляны, молодые люди пришли в отчаяние. Они целый день заняты были писанием прощальных писем своим близким. Луневский и Колесников — женам, а Кислейко невесте.

Днем меня вызывали к следователю в 8-й номер — в дом Жданова. Я очутился в небольшой комнате, выходящей окнами во двор. Здесь, кроме меня, находилось еще несколько человек, переведенных из тюрьмы утром. В числе их барон Штенгель. Он сильно изменился. Оброс бородой, отпустил волосы и поседел. Его прямо из тюрьмы с вещами привели в 8-й номер, не заводя в камеру. Барон чувствовал себя бодро. В разговоре с нами он высказал надежду на то, что его страдания, наконец, кончатся и его скоро освободят.

—Иначе не привели бы сюда,— рассуждал барон.— Не правда ли? Сейчас еще день, значит, если бы хотели расстрелять, то до ночи перевели бы в камеру. Допрашивать меня также не о чем, так как следствие обо мне закончено.

—Ну, что вы — расстрелять! — говорил его сосед, в котором по внешнему виду можно было угадать бывшего военного. — Несомненно, это признак хороший, что вас привели сюда. Вероятно, выдадут вам здесь документы и — на волю!

В комнату вошел какой-то матрос.

—Кто из вас барон Штенгель? — провозгласил он.

—Я! — отозвался барон.

—На освобождение вас... Сейчас проводят.

Барон прижал обе руки к сильно забившемуся сердцу. От радостного волнения лицо его покрылось мертвенной бледностью. Он широко, истоиво перекрестился.

—Господи, Боже мой, — прошептал он. — Ведь вот ожидал этого, а как услышал эти два слова «на освобождение», то просто сердце оторвалось.

Барона поздравляли, жали ему руки. Он быстро стал распаковывать свои вещи и раздавать товарищам по несчастью хлеб, колбасу и прочую снедь. Затем обошел присутствовавших, снабжая всех папиросами из гильзовой коробки и объемистого портсигара.

—Одну себе на дорогу оставлю, — весело закончил он раздачу папирос. Он весь приободрился, как-то вырос...

В комнату опять вошел другой матрос и спросил:

—Барон Штенгель здесь?

—Да, да, это я... Идти уже?..

—Да, на освобождение вам... Посидите еще минутку.

Через минут десять вошел Абаш с первым матросом.

—Барон Штенгель!— позвал матрос.— Пожалуйста.

—Вещи взять с собой?— приветливо спросил барон.

—Вещи... пока не надо.

По лицу барона пробежала тень легкой тревоги. Но он тотчас же оправился и с улыбкой поклонился нам.

—Верно, в комендатуру за документами,— сказал он, уходя.

Я подошел к окну. Барона вывели из дверей, выходящих в подворотню. Он обернулся в сторону ворот, собираясь, видно, идти на площадь. Матрос жестом руки предложил ему следовать в глубь двора. На одну секунду барон остановился и вскинул глаза наверх. Наши взоры встретились. В глазах его я прочел трепет какого-то рокового предчувствия. Но медленно повернувшись, он последовал за матросом. Когда шедший впереди матрос остановился у дверей находящегося в глубине двора подвала, барон весь как-то съежился. И вдруг ужасное сознание истины охватило его. Голова внезапно поникла, он схватился одной рукой за волосы, другой за грудь и исчез в дверях рокового подвала. Оглушительно затрещал грузовик, заведенный на холостом ходу. И сквозь шум машины мне слышался сухой звук револьверного выстрела...

Следователь меня не допрашивал. Меня вернули в камеру. Зачем меня вызывали— я не знаю.

Ночью казнили ни в чем не повинных Демьяновича, [Я.М.] Зусовича, [С.А.] Кальфа, [Ф.О.] Бурнштейна и Каминера. Казнь Каминера произвела особенно сильное впечатление. Известный благотворитель, не знавший предела своей щедрости, оплаканный десятками семей, облагодетельствованных им, Каминер был лишен жизни... «как коммерсант». Других улик даже изобретательные на ложь палачи не могли найти против этого честного человека. Тогда же расстреляли товарища прокурора Баранова, юриста, далекого от политики, кроткого, благородной души, мухи на своем веку не обидевшего.

Вместе с ними погиб и молодой 22-летний студент [П.В.] Стрельцов. Погиб за то, что у него нашли револьвер. Он с редким мужеством встретил смерть. За два-три дня до казни, зная об ожидавшей его участи, он написал письмо домой, в котором делал подробные распоряжения о том, как обеспечить свою молодую жену. В этом письме Стрельцов, между прочим, просил жену не носить по нем траура и не искать его трупа. «Наши тела бросают в такие ужасные места, что лучше, чтобы ты и не знала об их существовании»,— писал он жене.

Красный террор, бессмысленный, вопиюще жестокий, окутал нас своим кровавым саваном.

Надежды

До нас стали доходить слухи о волнениях среди рабочих. Мы узнали, что на заводе «Рочит» происходили митинги протеста против красного террора. Трепетная надежда поселилась среди заключенных. Жадно ловили все сведения с воли. Целый день речь шла о значении рабочего выступления. Осмелятся ли коммунисты не подчиниться ему? Но на кого же они в таком случае будут опираться, на чье общественное мнение? Литератор недоверчиво качал головой.

—Им не нужно никакого общественного мнения. Пока у них есть штыки, они на них и будут опираться.

—Да,— сказал Миронин,— но вспомните удачные слова защитника Пуришкевича в московском революционном трибунале: «на штык можно опираться, но на него не сядешь».

—Ну и что же нам-то от этого? Пока им захочется «сесть», то есть установить что-то похожее на государственный строй, наши вещи будут носить Абаша, Володьки и К°.

И действительно, наши надежды вскоре сменились разочарованием. Как-то вечером арестовали несколько десятков рабочих-меньшевиков. Многих отпустили. Лидеров оставили. Среди последних я узнал Кулябко-Корецкого. Его поместили в камеру заложников. Арестовали также меньшевика с.-р. Р-тая и известного анархиста Ч-явского. Этих двух поместили отдельно, в особой камере, где отбывали арест сотрудники чрезвычайки. Тем не менее, наши оптимисты не унывали.

—Мне кажется,— говорил Дик Луневский,— это хорошо, что арестовали лидеров меньшевиков. Это должно еще более возмутить рабочих и заставить их действовать энергичнее. Одним словом, чем хуже— тем лучше. Чем более натянута струна, тем скорее лопнет.

—В конечном выводе это и будет так,— печально ответил Миронин.— Но я боюсь, что мы лично, находящиеся здесь, не дождемся, пока лопнет струна.

—Однако, вот уже около недели, ни одного размена не было,— вставил Кислейко.

—Да, но возможно, что это лишь затишье перед бурей,— возразил литератор.

Слух об отмене смертной казни продолжал усиленно вентилироваться в чрезвычайке. Новых расстрелов действительно не было. Потекли более спокойные дни. Висевшие над нами безумие и ужас стали понемногу рассеиваться. Надежды на лучшее просыпались и крепились.

В этот период произошел значительный перелом в отношениях к нам со стороны администрации. Гадис сильно изменился. Его грубые окрики стали слышны реже. Главные «менялы» уже не появлялись так часто, как раньше, в стенах ЧК. Арестованные стали пользоваться сравнительно большей свободой. Выходили в коридоры, ходили во двор без выводного красноармейца. Но зато в это время сильно обострился продовольственный вопрос. Дороговизна продуктов достигла высших пределов. Гадис разрешил нам посылать Володю за покупками.

Обыкновенно наш литератор вместе с Мирониным бывал и организатором этого дела. Со всех камер, не исключая и женской, собирали деньги, обыкновенно тысяч до 6–7. Каждая камера представляла список требуемых продуктов, затем составлялся общий список для всех камер, который и вручался вместе с деньгами Володьке. Володька очень охотно брал на себя эту миссию. Во-первых, он получал за свой труд «узаконенных» 10 процентов, а во-вторых, он нас бессовестно обчитывал и обкрадывал, в особенности на хлебе,

самом драгоценном для нас продукте. Обыкновенно Володя брал из хозяйственной части ордер на покупку стольких-то хлебов по твердой цене. По ордеру в то время можно было приобрести рублей за 50 фунт хлеба, а в городе цена стояла до 120–130 рублей за фунт. Володька же хлеб, купленный за 50 рублей фунт, ставил нам в счет в 150 р. фунт. К этой цифре

он еще присчитывал свои проценты. А на всю покупку, стоившую 6–7 тысяч рублей и заключающуюся в неполном мешке с хлебом и огурцами, он накидывал еще 200 рублей на извозчика. И голод заставлял нас мириться с этим безобразным грабежом, при котором на каждой покупке Володька «зарабатывал» от 2 до 3 тысяч рублей.

В то время комиссаром камеры был выбран нами Миронин (старший комиссар, Заклер, назначался начальством; такова уж была традиция). Человек прямой и большой сангвиник, Миронин не мог выносить этого беззастенчивого грабежа и решил принять решительные меры. Он обратил внимание на то, что более половины приносимых арестованным посылок исчезало в карманах красноармейцев, которые во главе с Володькой нагло отбирали львиную долю из каждой посылки и тут же складывали в большой мешок, который к концу передачи наполнялся доверху. Часть этих продуктов тут же распродалась заключенным по баснословным ценам, а другая часть служила материалом для обильного пира, который устраивали себе вечером красноармейцы. На этих пиршествах участвовал и старший комиссар Заклер, покрывавший наглый грабеж этой банды. Если бы урегулировать вопрос с передачей посылок, то, конечно, реже пришлось бы прибегать к покупкам через посредство Володьки.

Миронин рискнул прямо обратиться к заведующему тогда тюремным отделом Гадису. Он горячо описал ему тяжелое состояние арестованных, семьи которых нередко продают последние вещи, чтобы принести своему близкому страдальцу кусок хлеба. К общему удивлению, Гадис отнесся к заявлению Миронина с большим сочувствием. В день ближайшей передачи он распорядился, чтобы комиссары всех камер присутствовали при передаче, и, обращаясь к Володьке, закричал:

—Если ты... твою мать, возьмешь у них хоть крошку хлеба, я тебя собственными руками пристрелю! Там действительно, может быть, жена последнюю юбку продает, чтобы хлеба мужу принести, а вы позволяете себе растаскивать... Есть вам, сволочам, что ли, нечего? Целый день лопаете.

—Ничего им, буржуям, не будет,— проворчал Володька, однако ограничился тем, что стянул у немцев сладкий пирог, и с этого времени беззастенчивое ограбление посылок прекратилось.

Это событие в нашем мизерном существовании узников, чутко реагирующих на малейшее явление внутренней жизни тюрьмы, произвело отрадное впечатление. Описываемые три недели были действительно небольшим просветом в истории кошмарного существования чрезвычайки. За это время я успел познакомиться со многими из заключенных. Встретил среди них немало и знакомых.

Помню среди заложников симпатичную фигуру почетного мирового судьи Еремеева, обвинявшегося в контрреволюции, освобожденного и вновь арестованного уже в качестве заложника буржуазии по той причине, что брат его, отсутствовавший в Одессе, имел крупный винный склад. Вспоминаю обаятельную личность комиссара «буржуазной» четырнадцатой камеры, профессора Вилинского, неутомимого в заботах об интересах своих избирателей. Такой же сердечной заботливостью отличался и комиссар другой камеры, всеми любимый И.И.Волчанецкий.

В эти дни я познакомился с известным доктором Т-мым. Вокруг его имени создалось много толков, и вообще личность его представлялась очень невыясненной. Австрийский студент, политический, высланный из Австрии, он вращался в среде европейских социалистов, играл

какую-то роль в Москве в большевистских кругах и, по его словам, состоял членом московской коммунистической партии. Здесь, в Одессе, он именовал себя председателем общества Международного Красного Креста. По имевшимся сведениям, он предал целый ряд лиц, причастных к Красному Кресту. Эти лица, по обвинению их в сионизме, сидели в чрезвычайке вместе с Т-мым. Наш литератор его определенно называл провокатором. Доктор Т-м в беседе со мной говорил, между прочим, что об его аресте послана телеграмма в Москву Троцкому, от которого в знак памяти Т-м получил небольшой золотой жетон в форме красной звезды, который он носил на цепочке часов.

—Я далек от мысли, что меня рискнут расстрелять здесь,— говорил Т-м.— Хотя меня местные коммунисты не знают, но я очень популярен на севере. Жду ответа из Москвы.

В женской камере сидела жена Т-ма, с которой он обвенчался за 9 дней до ареста. Отношения между супругами были явно враждебные.

В описываемые дни начали появляться в стенах чрезвычайки представители высшей социалистической инспекции для проверки правильности основания содержания под стражей. Это уже была несомненная уступка требованиям возмущенных бессудными казнями рабочих. Прошел слух, что вообще казням в чрезвычайке положен конец, что всех будут судить гласным судом, что ожидается комиссия из представителей рабочих и социалистической инспекции, которые пересмотрят все списки содержащихся в ЧК. Но дни проходили, а комиссии никакой не появлялось.

Посетили чрезвычайку лишь некоторые представители инспекции. Был у нас член коллегии этой инспекции товарищ Ирина, женщина средних лет, с увядшим усталым лицом. Она много курила и терпеливо выслушивала жалобы всех арестованных. Кое-что записывала на листочке бумаги. Она возмущалась, услышав о грубом обращении администрации, о постоянной брани и ударах прикладом.

—Я приму меры. Я доложу обо всем,— заявила она нам.— Это недопустимо в социалистической тюрьме.

—В социалистической тюрьме!— тихо, с иронией заметил мне на ухо Миронин.— Как будто здесь можно говорить о социализме и вообще о какой-нибудь идее.

Являлся еще другой член инспекции, высокий, безусый, совсем юный студент. Он развязно опустился на нары около стола и стал безучастно выслушивать слезные жалобы моих товарищей.

—Ладно,— прервал он просителей.— Я проверю всё это, и кто незаконно содержится, будет освобожден, хотя я лично убежден, что 99 процентов из вас виновны.

Миронина, видимо, передернуло. Литератор тщетно пытался его удержать, он протолкался к столу и сухо спросил:

—Вы говорите, 99 процентов виновных? А если я вам доложу, что процент освобожденных из ЧК превышает цифру 60 процентов всех арестованных? И я думаю, что вряд ли кому-нибудь в голову придет мысль обвинять чрезвычайку в снисходительности.

Член инспекции, не удостоив Миронина ответом, встал. Миронин настойчиво продолжал.

—Я еще хотел заявить вам, как представителю высшего судебного контроля, что я вопреки декретам уже 20 дней сижу без предъявления обвинения. Что же это будет?

—Что будет?— развязно бросил студент.— Расстреляют или в тюрьму переведут, а может быть, и освободят...

—Благодарю вас,— иронически поклонился Миронин.— Для того чтобы узнать эти истины, мне незачем было обращаться к члену социалистической инспекции. Всякий меняла здесь мне мог бы ответить то же.

—Я не желаю с вами разговаривать,— грубо крикнул член инспекции и вышел из камеры.

—Какая вы горячка,— упрекали мы Миронина.— Вы таким образом действительно себе беду наживете.

—Я все равно обреченный,— упрямо возразил он.— И обидно мне смотреть на вас, когда перед такими скверными щенками вы изливаете свои горечи. Они все делают лишь вид, что слушают вас. Никто ваших бумаг и петиций и не читает.

Под вечер мы вышли с Мирониным во двор. В окне дежурной комнаты стоял один из следователей чрезвычайки, знакомый Миронина. Следователь позвал:

—Товарищ Миронин, подойдите на минуту к окну...

Миронин подошел. Я стоял в нескольких шагах от него и слышал, как следователь, наклонившись из окна, быстро проговорил:

—Товарищ Миронин, я вам должен сообщить ужасную весть... Вы приговорены к расстрелу. Примите все меры... Если можете— бегите. Я вам ничем, к сожалению, помочь не могу. Боюсь с вами даже говорить. Мужайтесь!

Я быстро подошел к Миронину. Он был бледен, как полотно, и еле стоял на ногах. Увидев меня, он слабо улыбнулся и сжал мою руку.

—Вот... слышали... Я это знал,— уронил он.

Что мог я ему сказать в утешение? Он лег на свои нары и недвижно пролежал несколько часов с открытыми глазами. Когда он поднялся, лицо его показалось мне каким-то особенным. Страшно бледное, оно застыло в созерцании чего-то глубокого и важного. Глаза смотрели пристально и серьезно.

—Ничего,— шепнул он мне.— Лишь бы скорее.

Дни грядущие

Художник Кржижановский дописал свою картину на тему «Да воссияет над миром красная звезда». Картина была написана на обыкновенной классной доске простыми клеевыми красками. Она изображала восход солнца над морем. На фоне солнечного диска всходила из вод морских огненно-красная звезда... На переднем плане, справа голый утес, лишенный растительности, купал свое каменное подножье в волнах застывшего моря. А слева, на скудной песчаной почве при свете красных лучей оживало ветхое дерево. Его ветви судорожно тянулись к восходящей звезде и, видимо, мгновенно покрылись молодыми побегами зеленеющих листочков... Картину приходил смотреть Калениченко. Он долго, прихрамывая, топтался около нее, а к вечеру нашего общего друга-художника вызвали «на освобождение».

—Ну, собирайте вещи,— проговорил симпатичный караульный начальник, которого звали Абраша.— Только смотрите, записок с собой не берите от арестованных. Лучше на словах запомните. А то могут, как того полковника, ни за что ни про что вернуть в камеру и разменять.

Мне рассказали потом про этот случай. Сидел в одной из камер бывший полковник. Из отставных, человек уже пожилой. Его освободили. Как отзывчивый товарищ, он забрал чуть ли не несколько десятков записок от арестованных для передачи родным. При выходе его обыскали, отобрали записки, а вечером расстреляли...

Мы все горячо прощались с милым художником. Все были радостно приподняты и оживлены. Абраша торопил его.

—Ну, будет уже! На воле встретитесь. А то внизу уже освобожденные выстроились. Еще в камеру вас вернут, если опоздаете.

—До свидания, до свидания, господа,— прощался Кржижановский.— Дай нам Бог встретиться.

Он ушел. Его провожали сочувственные взоры узников. Потом все столпились у решеток окна и долго смотрели на двор, где среди выстроенных освобожденных стоял наш товарищ. Миронин также искренне принимал участие в общих проходах. Он, видимо, забылся, переживая радость ближнего, и приветливо кивал освобожденному из окна. А когда вереница счастливых, вырвавшихся из нашего ада, скрылась за воротами, взор его снова потух и застыл в том выражении углубленного внутреннего самосозерцания, которое я наблюдал в нем вчера. И по обыкновению, он нервно заходил взад и вперед по камере, избегая разговоров с товарищами.

Я обратил внимание, что виски его сильно поседели за прошедшую ночь.

—Что сделалось с нашим Мирониным?— спросил меня литератор.

Я только пожал плечами в ответ. Миронин просил меня ничего не говорить другим о той сцене, невольным свидетелем которой я был во дворе.

—Не нужно их смущать,— объяснил он.— Они ко мне все почему-то так сердечно относятся.

Каждый день к нам приводили новых арестованных. Многих за это время освободили. Однажды в камеру к нам явился юноша лет 19–20 с гладко выбритыми головой и лицом, еврей. Он был одет в коричневый франтовской френч, широкие галифе были заправлены в высокие, элегантные ботинки на шнурках. Юноша вошел в камеру и с громким смехом подошел к тому студенту, служащему ЧК, который сидел в нашей камере и о котором я упоминал в первой главе.

—Здравствуй, Яша!— сказал Р-цкий, так звали нового нашего товарища.— Представь себе, Сенька (секретарь президиума) меня арестовал. Посиди, говорит, за длинный язык. Это мне все Лиза наделала... Сколько же я, спрашивается, буду сидеть?

—А в чем тебя обвиняют?— спросил Яша.

—Да я и сам не пойму. Дело было в следующем. Однажды я зашел в ЧК к товарищу Сене и другим. Вот они и говорят мне: ты знаком, Р-цкий, с семьей Зусовича? Да, говорю, знаком. А знаешь ли ты, что Зусович— жив? Его не расстреляли. Он у нас сидит припрятанным в надежном месте. Если родственники дадут 500 тысяч, мы его выпустим.

—Это не шантаж?— спрашиваю я.

—Какой шантаж! Деньги можно положить в третьи руки, вручить какому-нибудь надежному лицу. А когда Зусович будет освобожден и доставлен прямо на французский миноносец, тогда пусть выдадут деньги тебе.

—Ну, я, конечно, немедленно побежал к родственникам Зусовича и рассказал им эту историю. Несчастливая жена от радости в обморок упала. Стали собирать деньги. Сто пятьдесят тысяч положили в третьи руки. Мне поручили уведомить моих знакомых чекистов, что пока собрано 150 тысяч, но будет собрано еще, хотя 500 тысяч вряд ли удастся нацарапать. Прихожу в президиум и встречаю Лизу. Говорю ей, что мне нужно видеть таких-то по делу Зусовича. Она начала у меня выпытывать, что это за дело такое. Я ей рассказал. Хотя я, наверное, знаю, что она сама в этом деле заинтересована и только прикинулась незнающей. Определенного ответа мне в этот день в чрезвычайке не дали. А на следующий день в квартире Л., того третьего лица, у которого находились деньги, произвели обыск, нашли 150 тысяч, которые отобрали, и арестовали Л. и меня. Он тоже здесь, в ЧК, сидит. И арестовали меня тот же Сеня и Лиза. За что? Я ничего не понимаю. Сами меня послали для переговоров с Зусовичами, и они же меня арестовали. Смеются, говорят: за длинный язык... Я хотел просто доброе дело сделать. Как же не спасти человека от смерти, если можно? Я даже лично не был заинтересован в этом деле. Деньги я должен был полностью передать чекистам.

—А Зусович действительно жив?— спросил литератор.

—Не знаю. Сегодня весь город говорит об этом деле. Конечно, ЧК известила в газетах о том, что это шантаж, что Зусович давно расстрелян...

—Какой ужас, какой ужас!— говорил литератор Миронину.— Вы представьте только себе, что переживала эта несчастная семья Зусовича. Сперва прочла о его казни в газетах. Перестрадала это, может быть, примирилась со своим горем. Затем этих людей заставили пережить новое потрясение: потрясение радости при вести, что он жив, что его можно спасти. И наконец, этот последний удар. Не говоря уже о потере 150 тысяч... Как вы себе хотите, но это превышает все пытки, которые создала инквизиция!..

—Это очень темная история,— задумчиво проговорил Миронин.— Весьма возможно, что тогда Зусович был еще жив, а может быть, он жив даже и сейчас. Но теперь уж, конечно, этого несчастного убьют.

Р-цкий оказался очень беспокойным субъектом. Добрый, незлобивый по натуре мальчик, но чрезвычайно экспансивный, шумный, подвижный, он всем действовал на нервы.

Он каждому в отдельности и всем вместе по несколько раз рассказывал о своем деле в шутовском тоне, подчеркивал свое близкое знакомство с заправками чрезвычайки и неизменно кончал свою болтовню вопросом:

—Ну, сколько же я могу сидеть за длинный язык?

Р-цкий часто бегал во двор и долго простаивал под окнами конторы и дежурной комнаты, болтая со знакомыми следователями. Он узнавал кое-какие новости и сейчас же бежал сообщать их в камеру. Когда подслушанные им вести касались освобождения кого-нибудь, он с шумной радостью бросался в камеру, чтобы первым сообщить товарищу добрую новость. Р-цкий обладал еще одной способностью— целый день жевать что-нибудь. Где он доставал себе

еду— непостижимо. Однажды я застал его хлебающим борщ из одной миски с караульными красноармейцами, другой раз он как-то ухитрился получить порцию обеда, отпускаемого сотрудникам ЧК. При этом он неизменно заявлял, что целый день ничего не ел. Я и сейчас не могу представить его себе иначе, как с помидором или огурцом в руке. В день он уничтожал не менее двух десятков этих овощей.

В эти дни было освобождено еще несколько лиц. Из наших знакомцев освободили Скачинского и литератора. Не могу и сейчас без разрывающей душу печали вспомнить трогательное прощанье Миронина со своим приятелем-литератором. Ведь Миронин прощался с ним навсегда.

—Когда будете свободны, немедленно заходите ко мне,— говорил литератор Миронину.— Адрес мой вам известен.

Миронин молча расцеловался с ним. После ухода литератора он забился к себе в угол. Глаза его были полны слез. Вечером явился Володька в сопровождении Абаша. Они вызывали Миронина. Как сейчас помню эти жуткие минуты. Миронин вздрогнул, стал еще бледнее и как-то беспомощно оглянулся на всех. Я судорожно вцепился ему в руку...

—Ничего, ничего,— шептал Миронин.— Сейчас всё кончится.

Рыдания сдавили мне горло. Я со стоном прижался к груди этого человека, к которому я успел так глубоко привязаться, как возможно только в дни тяжелых испытаний.

—Вас, вероятно, на допрос,— участливо говорили Миронину товарищи.— Будете скоро свободны!

—Прощайте, друзья,— тихо выговорил Миронин и вышел из камеры.

Часы проходили. Арестованные стали обращать внимание на долгое отсутствие Миронина. В камере снова воцарилась тревога. Вот уже стемнело. Сменился на ночь караул; прозвучал окрик ложиться спать, и все разошлись по своим нарам. Тревога об участии Миронина сменилась страшной уверенностью.

—Неужели он погиб? За что? Без допроса, без обвинения?

—Может быть, его вызвали в контору списки писать,— заметил кто-то.

Многие ухватились за это предположение. Так хочется верить в хорошее. Понемногу камера успокоилась и погрузилась в сон. Я не мог сомкнуть глаз. Ведь я один знал страшную истину. Последовавшего я никогда не забуду. Ночью отворилась дверь камеры. На пороге я увидел фигуру Миронина. Я подумал, что это галлюцинация. Я крикнул и протянул руки к видению. Но видение, шатаясь, еле передвигая ноги, подошло к моей постели.

—Не бойтесь, родной... Это я... Казнь отменили,— слабым голосом проговорил Миронин.— Но, Боже, что я пережил. Это хуже смерти.

Миронин опустился на доски рядом со мной. Я обнимал его, жал его руки, не будучи в силах выразить ему свою радость. Успокоившись, Миронин передал мне свою историю.

—Меня повели в восьмой номер. Посадили в комнату, где сидели еще четыре человека. Не знаю, откуда их привели, но здесь их ни в одной камере я не видел. Затем их стали вызывать и выводить во двор одного за другим. Машина грохотала все время. После того как вывели

первого на двор, завели машину, и до нас донесся звук выстрела, один из оставшихся начал метаться по комнате. Он перебегал от одного к другому, просил яду, умолял его убить. Из горла его вырывались хриплые истерические крики. Он стонал: «Маня, Маня, дайте мне проститься с ней! Один только раз обнять ее!..» Другие так же, как и я, сидели, раздавленные ужасом, молчаливые, белые, как стены той комнаты. Мы избегали смотреть друг на друга. И когда глаза мои встречались со взорами других, я читал в них одну лишь животную покорность судьбе. Вскоре, подавленный, обессиленный, успокоился и тот несчастный. Он опустил на скамейку, сжал голову руками и застыл в этой позе, пока его не вызвали.

Трудно вам передать мои ощущения. Голова стала тяжелая, как котел. Мне казалось, что внутри у меня образовалась сплошная зияющая пустота. Где-то в отдаленной клеточке мозга билось сознание, что сейчас меня не станет. Сейчас я перешагну эту таинственную грань между жизнью и смертью. Я даже на мгновение ощутил состояние какого-то любопытства: что будет там... И потом опять погрузился в тупое безразличие. Только когда вызывали кого-нибудь из нас, у меня кровь отливала от сердца, и после этого начинало тошнливо сосать под ложечкой... Во рту я ощущал какой-то противный соленый вкус...

—Всех четырех вывели и расстреляли. Я остался один. Машина замолкла. Тем не менее я ни одной минуты не сомневался в том, что участь тех четырех постигнет и меня.

Сколько я просидел в этом кошмарном ожидании— не помню. В конце концов, я погрузился в какое-то оцепенение... Вдруг дверь отворилась, и кто-то назвал мою фамилию. Мне сдавило горло, захватило дыхание. Меня вывели в коридор. Навстречу мне шел тот знакомый следователь, который говорил со мной во дворе. Он порывисто пожал мою руку и сказал: «Ну, от души поздравляю вас. Ваша казнь отменена. Дело ваше будет передано в суд... Поздравляю вас еще раз».

—Вот вам вся история,— закончил Миронин.

—Воображаю, какое ощущение радости жизни, какой подъем вы должны сейчас испытывать!

—К сожалению, нет,— тихо сказал Миронин.— Я чувствую только страшную слабость и утомление.

И положив ладонь под голову, он стал засыпать.

Тайны подвала. Рассказы Абаша

Миронин проснулся поздно. Встал оживленный и радостный. Он напомнил мне человека, вышедшего впервые на воздух после долгой и тяжелой болезни.

—Вот когда у вас в душе птички поют,— сказал я.— Я счастлив за вас бесконечно.

Он благодарно пожал мою руку. С этого дня Миронин снова энергично принялся за свои комиссарские обязанности. Старшего комиссара Заклера перевели в тюрьму. Он быстро собрал свои вещи в объемистый мешок и, ни с кем не простившись, исчез.

Мне говорили, что в чрезвычайку он пришел с пустыми руками. Неудивительно, что после его ухода многие из товарищей не досчитались кое-каких вещей. У Миронина пропал перочинный ножичек, что было большой потерей для камеры, так как в чрезвычайке ножи у всех отбирали и на всю камеру у нас случайно сохранилось только два. Забрал Заклер с собой чье-то зеркальце, взятое им для пользования «на пять минут». Мне передавали потом, что в тюрьме

Заклер просидел всего несколько дней и часто имел сношение с агентами чрезвычайки. Все вздохнули свободно, когда его не стало среди нас.

Новым старшим комиссаром назначили Л-цкого. Тихий, приветливый, с чрезвычайно привлекательным грустным лицом, блондин, Л-цкий, бывший юнкер, был уже давно приговорен к расстрелу, но приговор в исполнение почему-то не приводили. Он знал об этом и сильно страдал. Я как сейчас вижу перед собой его грустную приветливую улыбку. Говорили, что ему симпатизирует Калениченко, который все откладывал его казнь. Незадолго до описываемого дня Лисецкий рассказывал, что, идя за хлебом в 8-й номер, он встретился с Калениченко, который улыбнулся ему и сказал.

—Не волнуйтесь. Вам ничего не грозит плохого.

С этого времени Л-цкий ожил. В этот день вызывали на допрос старичка Пиотровского. Он вернулся сильно расстроенный и стал рассказывать Миронину подробности своего дела. Пиотровскому было лет под 70. он служил управляющим в одной из крупных экономий Одесского уезда. В дни пребывания германских властей, когда происходила ликвидация понесенных владельцами убытков, Пиотровский между прочим указал на расхищение и уничтожение редкой и ценной библиотеки, стоимость которой владельцы определили в миллион рублей. Хотя денег этих с крестьян и не взыскали, но на Пиотровского был донос, и его обвиняли в ограблении крестьян, в притеснении их в угоду владельцам имения и пр. Следователь после допроса сказал старику:

—Таких, как вы, вешать надо, как собак!

Миронин, как мог, успокоил старика, написал ему какое-то объяснение, говорил ему, что расстрелы прекращены, что вот скоро три недели, как никого не брали в 8-й номер.

Мне Миронин сказал:

—Старик этот, как свидетель, лишь установил факт уничтожения и похищения имущества. Он не мог не сделать об этом доклада владельцам, так как на нем лежала ответственность по охране вверенного ему имущества. Никакого доноса в действиях его нет. Это ясно для каждого. Но я уверен, что участь бедняги решена.

Вечером мы были привлечены необыкновенным шумом и криками во дворе. Все бросились к окнам. Глазам нашим представилась следующая картина. Посередине двора стоял мертвецки пьяный Абаш. Хотя в трезвом состоянии нам и редко приходилось наблюдать его, но сегодня он, видимо, накачался до зеленого змия. Абаш размахивал револьвером и грозил пристрелить каждого, кто к нему подойдет. Его окружала толпа сотрудников чрезвычайки— матросы, караульные и даже следователи. Вся эта публика, видимо побаиваясь буяна, для успокоения его применяла всяческие способы. Ему грозили приходом Калениченко, просили его, обнимали и даже целовали. Угроза именем Калениченко привела его лишь в еще большую ярость.

—Я сотни и тысячи разменял,— кричал Абаш.— И фашего Калениченко застрелю и вас фсех, я никофо не поюсь... Пусть, пусть только явится сюта сам Троцкий!

Ласка и поцелуи действовали на пьяного палача смягчающим образом. Он начал жаловаться на свою судьбу и плакать пьяными слезами, в голос, широко раздвинув рот. Рыдания, похожие на рычание, далеко разносились по двору. Однако пойти лечь спать

упрямый латыш отказывался. В конце концов, с большим трудом его удалось водворить в одно из свободных помещений и запереть на ключ. Но вскоре вся чрезвычайка стала сотрясаться от ударов кулаками и ногами, которыми Абаш осыпал дверь своего узилища. Видя, что это не помогает, Абаш начал палить из револьвера в окно. Тогда с ним опять вошли в переговоры. Ему передали, что Калениченко велел его арестовать впредь и до протрезвления и что завтра утром его выпустят. Абаш, с которого после физических упражнений над дверью немного спал хмель, пошел на компромиссы. Он согласился сидеть до утра, но только не в одиночке, а в общей камере.

—Если я, товарищи, финовен... пашалуйста!— говорил Абаш.— Я котоф ситеть... Я ничефо не имею... только пез компании я не могу... А в компании— пошалуйста.

Абаш поместили в нашу комнату. Он сел на нары, ослабивши свое плоское лицо в хищную улыбку, и засюсюкал:

—Не пойсь, тофарищи... Не трону. Хоть ви и смертники, а фсежлюди... Аезели ктофиновен, примерно, контрреволюционер он или еще что — я разменяю... У меня рука ферная: раз и катово!.. Не пойсь. Сефодня Абаш кутит. Я челофек московский и фам фсем пудет праздник. Потому все же— люти. А на теньги мне наплевать! Что теньги... Сколько уютно имею!

Абаш вытащил из кармана толстую пачку украинских пятидесятирублевых.

—Вот они, теньги. А не станет— еще тостану. Караульный, тофарищ!— заорал Абаш.

С подошедшим караульным Абаш вступил в пространные переговоры о покупке коньяку и продуктов.

—Турак, я тебя коньяком угощу. А фот как кофо разменяю— пиншак сниму и тепе подарю. Самый фартофый, упей меня пог, если фру,— уговаривал Абаш.

В результате этих переговоров один из красноармейцев взялся доставить вина и закусок. Через час он принес на все 8 абашиных тысяч три бутылки коньяку и гору хлеба, консервов, сала и огурцов. Абаш пришел окончательно в умиление.

—Ити фее сюта, смертнички фи милые,— присюсюкивал он.— Пейте и ешьте. Не сумлефайтесь— потому Апаш кутит! Фи тоже сепе люди. Кажтому феть хотиться. Ну, конечно, которые контрреволюционер— тем шабаш. Рука не трогнет!.. А так фообще... я человек прафильный... Отчего не укостить. Ити, ити сюта, тофарищи!

Видя нерешительность арестованных, Абаш рассвирепел.

—Что?! Презкаете, сукины сыны... кофору— укощаю.

Многие подошли к столу. Зашло и несколько красноармейцев. Абаш отпил из горлышка бутылки коньяку и передал бутылку соседям. Абаш вскоре совсем размяк. На своем ломаном русском языке латыша, смешанным с московским говором (в Москве Абаш прожил много лет) он, присюсюкивая и заикаясь, нескладно и неладно, в отрывистых фразах раскрыл перед нами много тайн знаменитого подвала ждановского дома. Не буду дословно передавать его рассказы. Их цинизм не поддается описанию. В общих чертах из них мы узнали следующее.

Расстрелы происходили в подвале дома №8. Иногда расстреливали и в сараях. Некоторые большие партии расстрелянных в силу красного террора были вывезены на грузовике за город. Там несчастные сами рыли себе могилы. Вначале, когда одесская чрезвычайка

совершала лишь первые, еще робкие шаги по пути своей кровавой деятельности, расстрелы производились нередко самым потрясающим и омерзительно циничным способом. Приговоренного водили в клозет, наклоняли голову мученика над чашкой и в упор стреляли ему в затылок. Над этой раковиной держали его бездыханное тело, пока не стекала вся кровь. Затем спускали воду...

Впоследствии, когда чрезвычайка окрепла и происходившая в ее стенах человеческая бойня перестала быть тайной, а расстрелы стали совершаться в крупных размерах, человек по 40–50 в ночь, ареной кровавых расправ сделались погреб и сарай. Во время расстрелов заводили машину на грузовике. Ее грохот отчасти покрывал крики и стоны жертв и звуки выстрелов.

На расстрел выводили по одному, иногда по два. Осужденного заставляли в подвале раздеваться. Снимали верхнее платье и ботинки. Иногда приказывали снять и рубашку. Убивали выстрелом из револьвера в затылок. Иногда расстреливали и в лоб. Нередко расстрелы сопровождалось истязаниями. В расстрелах участвовали, кроме специальных палачей— «менял»,— еще и «любители». Последних, помимо извращений садистической натуры, привлекал еще и «гонорар». По уверению Абаша, за каждого расстрелянного выдавалось чрезвычайкой палачу по 1000 руб. «Менялам» же доставались вещи казненных. Из других официальных источников я слышал, что за каждого казненного чрезвычайка платила по 250 рублей. Возможно, однако, что впоследствии «такса» была повышена.

В расстрелах, как я уже говорил, принимали участие и «любители»— сотрудники ЧК. Среди них Абаш упоминал какую-то девицу, сотрудницу чрезвычайки, лет 17. Она отличалась страшной жестокостью и издевательством над своими жертвами. Расстреливали известный нам Гадис, Володька и даже заведующий хозяйственной частью Е-ов. Из уст последнего впоследствии я сам услышал, что им был собственноручно расстрелян доктор Т-м, о котором я писал в предыдущих главах. Но из всех этих отщепенцев особенной, непостижимой жестокостью отличался один из членов президиума В-н. Я не раз видел этого человека. Московский студент с бледным продолговатым худым лицом, острым носом и красивыми темными, совершенно матовыми, пронизывающими насквозь глазами. В-н, по словам Абаша, «разменивал человека по частям». Он обыкновенно садился перед своей жертвой и начинал его расспрашивать.

—Офицер?— прищурился В-н и, прицелившись из револьвера, пробивал кисть руки мученика.

—Может быть, полковник?— И пуля раздробляла локоть...

—К этому в руки лучше не попадаться,— говорил Абаш.— Полчаса «менял»... Меняет, меняет, а сам кокаин нюхает, курит...

Этот В-н впоследствии был назначен начальником военной чрезвычайки на фронте. Его секретарь с упоением рассказывал о нем:

—Это талантливейший человек. Он сам судит, сам выносит приговор и сам его сейчас же исполняет на месте! За-амечательный человек!

Человек ли?

Из рассказов того же Абаша, проверенных мною показаниями, и других заключенных я узнал подробности смерти генерала Федоренко и графа Роникера. Эти страдалцы умерли гордо, как

герои. Вот подробности казни графа Роникера. При объявлении красного террора его перевели из тюрьмы в чрезвычайку. Днем его вызвали из камеры и объявили, что он свободен. Разрешили взять с собой вещи. Представительный, спокойный граф вышел со своим чемоданом в одной руке и пледом, перекинутым через другую, во двор.

Приподняв шляпу, он вежливо спросил одного из матросов:

— Не разрешите ли мне позвать извозчика?

— Извозчика? — ответил матрос. — Отчего же нет. Дайте деньги...

Граф вынул 200 рублей и вручил их матросу. Минут через пять его пригласили идти. Выйдя за ворота, он спросил:

— А где же извозчик?

Один из сопровождавших его захохотал.

— Вам нужен извозчик? Ничего, и без извозчика у нас туда приезжают. В лучшем виде доставим.

Граф опустил голову и, плотно сжав губы, последовал за своими палачами. Он прошел через площадь в дом Жданова. Там через двор его провели в пресловутый погреб. В погребе у него отобрали вещи и велели стать лицом к стенке.

— Зачем? — с достоинством спросил граф. — Не знаю, как вы, но я могу каждому смотреть прямо в глаза. Стреляйте!

Так умер граф Роникер...

Не с меньшим достоинством шел на смерть генерал Федоренко. Генерал сидел долгое время в чрезвычайке. Вместе с ним был арестован и сын его, юноша лет 17. Содержали их в разных камерах. Вечером явились за генералом пьяные палачи. Ген. Федоренко понял всё. Он снял с шеи небольшой образок и, обратившись к соседу своему, присяжному поверенному и офицеру Борхударьянцу, сказал:

— Передайте, прошу вас, моему мальчику этот образок и с ним мое благословение. Прощайте!

Они обнялись.

— Ну, вы там живее, собирайтесь! — крикнул матрос.

Генерал Федоренко твердо ответил.

— Не спешите. Еще успеете поделить мои вещи. Я знаю, куда вы меня ведете, и иду со спокойной совестью, так как никому не сделал зла и умираю от руки негодяев...

На другой день утром юноша Федоренко спросил Борхударьянца:

— Отчего, товарищ Борхударьянц, папа так поздно спит?

— Папы нет, — сказал Борхударьянц. — Будьте мужественны, милый мальчик. Папу увели еще вчера вечером, и до сих пор он не возвращался.

— Они убили его! — воскликнул несчастный юноша и истерически зарыдал.

Впоследствии я видел на его шее образок— последнее, заочное благословение его мученика-отца.

Расстреляно было немало рабочих. Все они умерли со спокойным презрением к своим убийцам. Один из расстрелянных сказал перед смертью:

—Вы бандиты. Расстреливайте побольше нас, рабочих! По крайней мере, наши товарищи скорее прозреют и сметут с лица земли вашу грязную власть.

Интересны также подробности дела коммуниста Клейтмана, бывшего комиссара одесского порта. Клейтмана обвиняли в продаже казенной кожи на 70 тыс. рублей. Кожа эта была расхищена подчиненными Клейтмана. Сам Клейтман был очень честным человеком и не раз доказал это. Так, при занятии Елисаветграда григорьевскими войсками Клейтман лично привез в Одессу и сдал здесь несколько миллионов спасенных им казенных денег. По роковому для него делу с кожей Клейтману ничего не стоило защититься, выдав настоящих виновников растраты. Но Клейтман стал на другую точку зрения. Он прямо заявил президиуму:

—Я не признаю вашего суда. Пусть меня судит партия, пусть меня судит гласный суд. В этом застенке я никаких объяснений давать не желаю!

Я помню, что сидевший в нашей камере Клейтман говорил нам, что его расстреляют не потому, что он виновен, а для высшего усугубления красного террора, чтобы доказать, что кровавая рука его не щадит даже и тех, которые с точки зрения коммунистов имеют большие заслуги перед революцией.

—Казнь моя, как коммуниста, имеет принципиальное значение в интересах объявленного террора,— говорил Клейтман.

Замечательно, что Клейтман был настолько популярен, что ни один из матросов, профессиональных «менял», не согласился расстрелять его, так как невиновность его была очевидна... Кто в конце концов привел в исполнение приговор над Клейтманом— осталось неизвестным.

Не могу не упомянуть в заключение о следующем случае. В чрезвычайке сидел какой-то рабочий, мастеровой. При обыске у него отняли часы и несколько тысяч денег. Будучи освобожден, он, забывши обо всех своих документах и вещах, поспешил покинуть эти проклятые стены. Лишь недели через две, когда он несколько пришел в себя, и в представлении его успели сгладиться ужасы чрезвычайки, он явился в канцелярию и стал требовать свои вещи и трудовые сбережения. Его немедленно арестовали и в ту же ночь расстреляли... Причина ясна: вещи и деньги, отмеченные в протоколе, не были сданы в кассу чрезвычайки, а были присвоены агентами, производившими обыск. Для сокрытия преступления потребовалось уничтожение самого потерпевшего. Об этом кошмарном случае я слышал не только от Абаша, но и из уст нескольких красноармейцев.

Социалисты в чрезвычайке

Утром Р-цкий вбежал в камеру в самом радостном настроении. Он бросился на свои нары и даже перекрестился.

—Что, Р-цкий, православие принял?— пошутил кто-то.

—Еще бы! Завтра буду свободен. Сам Сеня мне это сказал. Посидел, говорит, за свой длинный язык— и довольно. Вообще я слышал, что будет очень много освобождений. Человек 50–70. Сам список видел.

К словам Р-цкого мы вообще относились скептически. Однако слухи о массовых освобождениях упорно держались в чрезвычайке. В этот день я с Мирониным посетил камеру, в которой сидели сотрудники чрезвычайки и упомянутые мною два лидера рабочих: член анархистской федерации Ч-ский и правый с.-р. Р-аль. Ч-ский— среднего роста, сухой, мускулистый и очень подвижный мужчина лет 40. Лицо его, длинное, с сильно развитым подбородком и резко очерченными губами обличало необыкновенное мужество и железную энергию. Р-аль— старик-рабочий с умным интеллигентным лицом. Он представлял собою одного из тех старых испытанных борцов за свободу, которых царский режим держал десятками лет в тюрьмах и «отдаленнейших» местах Сибири. На каторге и затем в ссылке Р-аль не только о многом передумал, но успел прочесть немало книг по социологии, государствоведению и политической экономии. И из него выработался цельный, твердый, как гранит, носитель идей социализма. Ч-ский являлся также одним из лидеров анархистов, человеком с большим революционным прошлым.

Оба они были арестованы за открытое выступление на бывших недавно митингах с протестом против советской власти. Несмотря на крайнее возмущение рабочих этими арестами, чрезвычайка считала необходимым проявить свою власть самым беспощадным образом. Коммунисты из ЧК шли, что называется, ва-банк. Они сознавали, что проявление малейшей уступчивости тем требованиям рабочих, которые, с точки зрения «чрезвычайных» коммунистов, являлись малосознательными, может повлечь полное уничтожение осинового гнезда на Екатерининской площади.

Однако в эти дни с достаточной ясностью выяснилось, что чрезвычайка уже не может рассчитывать на поддержку всех вооруженных сил, находящихся в Одессе. Так посланные для разгона митингов броневики отказались применять вооруженную силу по отношению к рабочим. Наконец, бессмысленная бойня людей, производимая во имя красного террора, возмущала буквально всех, а кровь невинных мучеников вопияла из каждого камня ждановского дома. Обычный беззастенчивый обман, в котором власти неизменно держали рабочих, не мог уже закрыть глаза на истинное положение вещей. Поэтому чрезвычайке пришлось скрепя сердце идти на уступки. Главари ее не раз приглашали Ч-ского с предложением выпустить его под условием дачи им честного слова прекратить среди рабочих пропаганду, направленную против деятельности чрезвычайки и большевистской власти. Ч-ский ответил:

—Я анархист и вообще никакой государственной власти не признаю. А тем более вашей бандитской власти. Теперь, после того как я посидел в вашем застенке, я более чем когда бы то ни было являюсь вашим противником. Лишь только я выйду отсюда, я немедленно постараюсь открыть глаза товарищам рабочим на ваши дикие зверства. Я требую от имени рабочих полного прекращения бессудных казней. Вы отлично знаете, что, если с моей головы упадет здесь хоть один волос, анархистская федерация вместе с рабочими разнесет вдребезги вашу чрезвычайку. И действительно, чрезвычайка не рискнула покарать Ч-ского за его смелые речи.

Между прочим, мы передали Ч-скому и Р-алю подробности ночных рассказов Абаша. Они слушали нас с напряженным вниманием.

—Самое возмутительное,— заговорил по окончании нашего рассказа Р-аль,— что всё это совершается во имя социализма! Да неужели же мы, старые испытанные борцы за народное благо, потратили лучшие дни всей нашей жизни, бросили семьи, личное счастье и всё, всё— для того, чтобы теперь любоваться этим коммунистическим раем!

—Ну, скажите вы мне, коммунисты,— обратился старик к сидевшим в камере арестованным чекистам,— что во всей вашей политике есть общего с социализмом? Кому вы дали счастье? Крестьянам? Да они вас проклинают! Вы их грабите, расстреливаете, совершенно никаких забот об их быте не проявляете. Деревня ходит голая и босая. Что вы им дали? Обувь, мануфактуру? Нет. Школы? Нет. Суды? Нет! Ни одного народного суда нет в Одесском уезде. Вот нужно снимать урожай, а многие земли находятся в споре, так как во время отсутствия владельцев-крестьян засеяны другими... Вы взываете к сознательности крестьян и требуете у них хлеба, а взамен его вы наводняете деревню коммунистической литературой, в которой требуете у крестьян только новых жертв.

А что вы дали рабочим? Хлеб? Нет! Работу? Нет! Наводнили все учреждения ворами, которые расхищают народное добро и щеголяют в награбленной в порту обуви и мануфактуре, носят кольца с бриллиантами, пьянствуют и раскатывают целые дни на извозчиках... Они— строители, они учителя, а я, тридцать лет страдавший за счастье людей, я— контрреволюционер.

Абаш— социалист, а я— контрреволюционер! Ха, ха, ха!

Да, конечно, я контрреволюционер. Такой революции нам не надо! Будь она проклята, ваша революция!

Старик сильно разволновался и нервно заходил по камере.

—Как вы полагаете,— спросил я,— верно ли, что бессудные казни отменены?

—Не знаю,— ответил Ч-ский.— Во всяком случае, пока мы с ним, Р-лем, здесь, я вам ручаюсь, что никто из вас казнен не будет. Я здесь ваш сторож. При мне они не посмеют учинять свои зверства.

И будущее доказало истинность слов Ч-ского.

Наш караул

Восстание немецких колонистов внесло много перемен в жизнь чрезвычайки. Прежде всего большая часть караула была отправлена на фронт. Всего в чрезвычайке были две смены караула. Один караул состоял почти сплошь из евреев. Так и назывался: еврейский. Большинство из них относилось к арестованным очень хорошо. А отдельные красноармейцы отличались редкой сознательностью и с явным осуждением смотрели на расстрелы. В дни дежурства еврейского караула арестованные чувствовали себя значительно свободнее. Кроме того, через этих караульных можно было безбоязненно передавать домой письма и получать через них же деньги и посылки. Другой караул известен был у нас под названием николаевского, так как состоял из николаевских рабочих. В первый же день волнений рабочих николаевцы бросили службу в

чрезвычайке и ушли домой, в Николаев. Их заменили турками, отличавшимися изумительной честностью. Эти люди проявляли к арестованным в общем сочувственное отношение. Они охотно выполняли различные поручения арестованных и при этом всегда отказывались принимать в благодарность за оказанную услугу деньги.

В дни восстания колонистов у всех трех камер, выходящих в общий коридор, ставилось два часовых. И те большей частью спали всю ночь. Нередко стены нашей тюрьмы оглашались выстрелом. Это заснувший часовой нечаянно нажимал курок или ронял на пол винтовку. Я не раз обращал внимание Миронина на то, что нас вообще так слабо стерегут, что если бы арестованные пожелали, они могли бы без труда обезоружить часовых и беспрепятственно бежать из чрезвычайки.

— Это верно, — отвечал Миронин. — Мне самому часто приходила в голову подобная мысль.

— Чем же объяснить, что все эти люди с такой покорностью судьбе сидят и ждут своей смерти?

— Я объясняю это тем, — после некоторого раздумья сказал Миронин, — что все эти узники чрезвычайки в сущности ни в чем не повинные люди. Большинство из них сидит здесь неделями и совершенно искренне не может даже представить себе за что. Не чувствуя за собой никакой вины, наши интеллигенты, в силу врожденной веры в право и справедливость, неизменно надеются на то, что недоразумение выяснится, что справедливость все-таки восторжествует. Вот они и покоряются этому ужасному режиму.

Да, и в самом деле: если вся вина ваша в том, что вы — журналист, а моя в том, что я присяжный поверенный, третьего в том, что он коммерсант, четвертого в том, что он офицер, — то человеческая мысль невольно протестует против самой возможности лишения жизни человека только за то, что он занимается той или иной совершенно легальной профессией. Ведь не существует же советского декрета, повелевающего казнить всех офицеров, адвокатов, врачей, коммерсантов...

— Да, — перебил я, — а Каминер? Он расстрелян только за то, что был коммерсантом... Другого обвинения даже и не постарались изобрести против него. А Федоренко? Его убили за то, что он бывший генерал.

— Совершенно верно. Но каждому хочется уверить самого себя, что казнь таких людей — недоразумение, единичный случай, наконец, результат личной мести каких-нибудь негодяев. Наша культурная психика, привыкшая к логическому мышлению, не в состоянии постигнуть весь абсурд массового бессмысленного истребления людей под лозунгом красного террора. Вот все и надеются на что-то, на какую-то правду, которой на самом деле здесь никогда не было и не может быть.

Миронин помолчал.

— И, наконец, — продолжал он, — как ни странно, ни дико, но ужас пред чрезвычайкой, гипноз ее настолько силен, что просто подавляет нашу психику, парализует нашу волю. Вообще режим, в котором мы находимся, способен совершенно потрясти психику человека, убить его волю, довести его до полного унижения и обезличения. Эта обстановка может толкнуть на подлость, на низость, на провокацию. Пример последней — Заклер.

И действительно, в этот день мы имели случай убедиться, до какого нравственного падения может довести этот проклятый режим чрезвычайки. В камере нашей сидел молодой моряк,

интеллигентный человек, вполне приличный и корректный товарищ. Ночью мы слышали громкие крики в коридоре. Оказалось, что часовой, рабочий, сидевший у дверей нашей камеры, по обыкновению вздремнул и во время сна почувствовал, как кто-то тянет находившийся у него под рукой платок с хлебом и сахаром. Часовой вскочил и застиг на месте преступления упомянутого молодого моряка. Возмущенный красноармеец долго поносил трепещущего, униженно вымаливавшего прощения моряка. На другой день мы сообщили Миронину, как комиссару, о проступке моряка, которым вся камера была в высшей степени возмущена. Раздавались голоса:

—Из-за таких господ эти самые часовые нас всех будут презирать и преследовать. Его нужно примерно покарать.

—Да, это так,— заметил я,— но если об этом дойдет до сведения начальства, моряка расстреляют немедленно.

Миронин позвал преступника.

—Как же это вы, товарищ, пошли на такое низкое дело, на кражу у солдата краюхи хлеба? Ведь вам известно, что и они теперь почти что голодают.

Моряк разрыдался.

—Простите меня, товарищи! Я был голоден и сам не знаю, что на меня нашло. Эта проклятая, проклятая жизнь довела меня до такого падения.

Суд камеры решил возложить на провинившегося в виде наказания обязанность в течение целой недели нести дежурство по коридору, то есть мыть коридор и уборную.

—Я на все согласен,— ответил моряк,— чтобы искупить свою вину перед вами.

Через полчаса после этого в камеру вошел вчерашний часовой, который вновь вступил на свой пост у нашей камеры. Он позвал комиссара и сказал следующее:

—Товарищ комиссар, я слышал, что вы наказали товарища, взявшего у меня хлеб. Назначили его на неделю дежурным по коридору. Вы этого не делайте, потому что я с вас всех за это взыщу. Выпускать не буду из камеры... Одним словом, я не хочу, чтобы вы его наказывали.

—Почему же так, товарищ?— спросил Миронин.

—А потому... Я сам сидел в тюрьме, как политический. Я сам испытал эту жизнь и голод, и тюремное обращение. Как в Сибирь погнали, так проститься с матерью родной не дали даже...

Голос часового задрожал от волнения.

—Я действительно вчера вскипел, вышел из себя и набросился на него. Обидно было, что у меня, бедняка, последнюю краюху хотел отнять. А потом одумался, вспомнил, в каком вы все положении находитесь, как вас содержат здесь, можно сказать, хуже скотины. Опять-таки вспомнил, как я сидел... и жаль мне его стало. Я ж понимаю... ведь он тоже голодный. Я ему сегодня сам полхлеба отдал... Вот как... И чтобы никто об этом не знал. Пусть так между нами и останется...

—Спасибо, товарищ, вы правы. Будет по-вашему,— раздались растроганные голоса.

Многие наперерыв жали часовому руку и благодарили его за человеческое отношение к узникам.

Новые ужасы

За последние дни началась усиленная разгрузка чрезвычайки. Освободили около сотни человек. Явился один из членов социалистической инспекции и заявил, что на другой день будут освобождены все остальные.

—Около 200 человек освободят, остальных в тюрьму,— говорил он.

После обеда поспешно освободили Ч-ского и Р-алю. Затем мы вдруг узнали, что нашего Р-цкого Гадис посадил в одиночку, придравшись к тому, что он зря болтается по двору. Под вечер во дворе несколько раз появлялись знакомые нам «менялы». Приходил Абаш, изрядно выпивший. Навестил нас и Володька в своих красных штанах. Он также был пьян и кричал на арестованных во дворе. Нас рано загнали в камеры. Еврейский караул сменили турками. Все это являлось признаками весьма тревожными, но мы были настолько успокоены тем, что, с одной стороны, уже около трех недель не было ни одного расстрела, а с другой— утренним заверением члена социалистической инспекции, что не придавали всем этим печальным предзнаменованиям особого значения.

Еще засветло явился в наш коридор Гадис со своей обычной свитой: Володькой, Абашем и красноармейцем в барашковой шапке. Все были совершенно пьяны. Из двух соседних камер вызвали восемь человек. Среди них Крупенского и молодого Федоренко.

Проходя мимо нашей камеры, Крупенский тихо спросил Миронина:

—Что бы это значило? Куда нас ведут?

—Я думаю, что на допрос,— ответил Миронин.— Ведь еще рано. Вчера привели нескольких человек от следователя около 10 часов вечера.

—Нет,— тихо сказал Крупенский,— я чувствую, что иду умирать... К тому же вы видите, они все пьяны.

Я помню с поразительной точностью, как их вывели во двор и начали обыскивать. Крупенский, бледный, обросший бородой, медленно протер пенсне и, обернувши голову, посмотрел вверх, на окна своей камеры, к решеткам которой припали его соузники. Кто-то из часовых резко окрикнул его, приказав не оборачиваться. Молодой Федоренко молча ломал руки. Раздалась команда— и их повели к воротам.

Стану ли я описывать подробности этой кошмарной ночи? Она была ужаснее всех предыдущих, во время которых происходили казни. Ввиду недостаточности караула палачи пять раз являлись за новыми партиями. У нас забрали старичка Пиотровского. Его вызвали как раз в ту минуту, когда он, по обыкновению, творил усердную молитву в своем углу у окна. Из одиночки вывели Р-цкого. Он был уверен до последней минуты, что его освободят. Но бедного юношу казнили за то, что у него «длинный язык», и казнили те люди, которые, воспользовавшись его наивностью, сами послали его к жене Зусовича с целью извлечь деньги за освобождение ее мужа. Из разговора с некоторыми причастными к чрезвычайке лицами Миронин узнал, что Зусович действительно был жив в тот момент, когда к семье его посылали для переговоров Р-цкого. Когда же история эта раскрылась, Зусовича будто бы тайно

расстреляли. Насколько правильна эта версия, я не берусь судить. Р-цкого же решили убить как опасного свидетеля.

В эту страшную ночь во время одного из посещений нашей камеры палачами произошел инцидент, который ярко рисует тот произвол и случайности, жертвой которых могла стать в чрезвычайке человеческая жизнь. Гадис, рассевшись в нашей камере со списком в руках, начал вызывать имевшиеся в нем фамилии. Легко можно себе представить, что переживал в эти несколько минут каждый из нас. Одна фамилия оказалась написанной очень неразборчиво.

—Лап... Лап... Лапин,— прочитал Гадис.

М.И.Лапин, казачий офицер, помещался в одном отделении со мной. Услыхав свою фамилию, он приподнялся и почему-то оглянулся на нашего комиссара Миронина.

Миронин нагнулся над листком и стал разбирать написанное.

—Здесь, товарищ Гадис,— дрогнувшим голосом заявил Миронин,— написано не Лапин, а, кажется, Лапуненко...

—Ну вам-то какое дело, Лапин или Лапуненко! Чего суете свой нос!— закричал на него палач в барашковой шапке.

—Дело в том, товарищ Гадис,— продолжал Миронин,— что Лапуненко, обвиняемый в налете, действительно имеется в верхней камере. А товарища Лапина еще даже следователь не допрашивал.

—Ага,— пробормотал Гадис.— Хорошо, пойдем искать Лапуненко.

Лапуненко действительно нашли в верхней камере. А Лапин был на следующий день освобожден. После того как палачи унесли вещи казненных, узники вздохнули свободнее, но до утра почти никто не спал. Я помню, как молодой художник Кислейко сел на нары и начал есть помидоры. Лежавший недалеко от меня Луневский возмутился.

—Как ты можешь в такие минуты есть!— воскликнул Луневский.— Ты совсем бесчувственный.

Кислейко расхохотался каким-то странным нервным смехом.

—Отчего же мне не съесть помидорку, последнюю, может быть,— ответил Кислейко.

—Что ты, Сережа, глупости говоришь!— сказал Луневский.— К чему бравировать?

—Дик, завтра меня расстреляют.

—Пустяки... За что? Этого не может быть.

—Ну, а если я собственными глазами видел свою фамилию в списке Гадиса, что ты на это скажешь?

—Тебе это показалось... Ведь видишь, размены уже кончились, а тебя не забрали.

—Бросим, Дик, говорить об этом. До завтра. Я хочу поспать... в последний раз.

Кислейко лег и отвернулся к стенке.

—Неужели нас с Сережей разменяют?— простонал Луневский.— Неужели? За что?

Засыпая, я вспомнил слова Ч-вского. Мне стало ясно, почему его так поспешно освободили в этот день.

Последние дни

На другой день утром Миронина вызвали из камеры для перевода в тюрьму. Ему объявили, что после обеда его увезут. Адъютант коменданта Е. сказал ему:

—Ваше счастье, что вас переводят... Раз переводят, значит, вы спасены.

—А остальные?— спросил Миронин.

Адъютант махнул рукой.

—Лучше не спрашивайте.

В это время Миронин заметил в окне своего знакомого следователя. Тот закивал ему головой и попросил подойти к окну канцелярии.

—Вас переводят в тюрьму, я слыхал,— сказал следователь.— Я рад за вас... Вы пережили тяжелую ночь, но это ничего в сравнении с тем, что будет сегодня.

—Как?..— взволнованно спросил Миронин.— А остальных двести человек, остающихся здесь, что ожидает?

—Они все— обреченные. Может быть, процентов 10 освободят...— медленно проговорил следователь.

Миронин начал называть фамилии лиц, сидевших в нашей камере.

—А Кислейко, а Колесников, а Луневский?

—Колесников и Кислейко приговорены...

—Но помилуйте, за что?

—Не спрашивайте меня об этом деле. Оно— настоящий кошмар!..

Миронин заволновался.

—Я отлично знаю всю подоплеку этого дела. В гибели Колесникова заинтересованы бандиты. Это их работа. Они имеют здесь своих агентов даже в президиумах... Неужели нельзя предотвратить гибель двух молодых людей, против которых нет решительно никаких улик? Это же чудовищно.

Следователь перебил его.

—Молчите! Здесь и у стен есть уши,— и добавил шепотом:— Если находите это нужным, предупредите их... Прощайте. Может быть, больше не увидимся...

Теперь пришла очередь Миронина утешать меня. Но он был сам не свой.

—Что делать, что делать...— ломал он руки.— Неужели все эти полные жизни люди, эти милые, ставшие мне такими близкими лица через несколько часов превратятся в изуродованные трупы?

Миронин снова подбежал к окну и начал спрашивать следователя про ожидающую меня участь. Отойдя от него, он с чувством пожал мои руки.

—Он говорит, что вам ничего не грозит. Насколько он знает, вы в списках смертников не значитесь! Пойдем наверх, предупредим несчастных.

Мы взбежали по лестнице и вошли в нашу камеру. Навстречу Миронину бросился Луневский.

—Скажите мне правду, дорогой друг наш, вы ведь долго говорили со следователем... Скажите, меня казнят?

—Нет, нет,— проговорил Миронин.

—А Сережу Кислейко?

Миронин хотел что-то ответить, но голос его оборвался, и он зарыдал.

—Сережа... бедный Сережа!

И Луневский затрясся в истерическом припадке. Кислейко стоял тут же. Он слышал весь этот разговор. Неподвижное спокойное лицо его не дрогнуло, только губы стали совершенно белыми. Он подошел к Луневскому.

—Дик, не будь бабой!.. Я бывший офицер и сумею умереть...

В это время во двор вступил грузинский караул. В камеру вошел адъютант и стал вызывать фамилии.

—Кислейко!— прочитал он.

Луневский застонал, вцепившись в руки друга.

—Дик, будь мужчиной... Вот портрет моей невесты... Я не хочу, чтобы он попал в руки этих мерзавцев... Возьми его и передай ей, когда будешь свободен.

Он протянул Луневскому маленькую медальонную фотографию— изображение молодой женщины.

—Прощай, Дик, навсегда, прощайте все!..

Кислейко оторвался от груди рыдавшего Луневского и расцеловался с нами.

—Живее, Кислейко!— крикнул адъютант.

Его вывели во двор. Там, окруженные красноармейцами, стояли человек восемь осужденных. Среди них я заметил присяжного поверенного Шрайдера, человека редко благородной души... За что, во имя чего должны погибнуть эти прекрасные жизни?

Мое прощание с Мирониным было трогательно и продолжительно.

—Я чувствую, что мы с вами увидимся, родной мой,— говорил он.— Крепитесь, я убежден, что сегодня день последнего издыхания наших палачей... Это их последнее кровавое «прости».

Миронин ошибся... Еще долгих две недели продолжались страдания узников чрезвычайки. В ту же ночь казнили несколько десятков человек. Некоторых, в том числе и меня, освободили в течение ближайших дней. Хотя, как я узнал впоследствии, я был включен в список смертников.

Мне потом рассказывали, что перед приходом добровольцев несколько человек были освобождены под «нравственную ответственность». Ночью к каждому из них явилось по одному сотруднику чрезвычайки с просьбой приютить и скрыть в силу данного слова. И все исполнили этот долг благодарности. Луневского расстреляли в ночь падения советской власти.

Источник публикации: К. Алинин. «Чека». Личные воспоминания об Одесской чрезвычайке. С портретами жертв ЧК. Одесса, 1919. 92 с. Издание 1919 года - общественное достояние. Текст набран по перепечатке в сборнике: Волков С. В. (сост.) «Красный террор глазами очевидцев». М.: Айрис-пресс, 2009. Раздел 1 «На Украине». Издание: <https://coollib.com/b/181411/read#t25> Взят только текст воспоминаний 1919 года; предисловие, комментарии и примечания составителя сборника 2009 года охраняются авторским правом и в архив не выкладываются.